



Русский  
толстый  
журнал как  
эстетический  
феномен



Специальный проект: «Журнальный зал» в «Русском

Последнее обновление: 20.09.2006 / 14:09

[Обратная связь](#)

Все проекты ЖЗ:

Поиск



[Детальный поиск](#)

Опубликовано в  
журнале:

[«Вопросы  
литературы»  
2006, №4](#)

[История русской  
литературы](#)

[\[AD-SIZE\]](#)

[\[AD\]](#)

[Новые поступления](#)

[Афиша](#)

[Авторы](#)

[Обозрения](#)



**Владимир Кантор**

**Откуда и куда ехал путешественник?..**

(«Путешествие из Петербурга в Москву» А.  
Н. Радищева)

версия для печати (40260)

[«](#) [<](#) [—](#) [>](#) [»](#)

Вышли персты руки  
человеческой и

писали против лампы на  
извести

стены чертога царского...

*Дан. 5, 5*

Миф и загадка Радищева

Почему путешественник отправился в Москву? Дворянин мог поехать в свое имение, мог путешествовать *с целью* (вроде Чичикова) по российским просторам. Путь чиновника лежал бы скорее в столицу, то есть в город Святого Петра. Путешественник вовсе не спешит в Москву на «ярмарку невест» (Пушкин) и не к забытой в странствиях возлюбленной, как Чацкий. Даже и не в университет, хотя похвальное слово Ломоносову произносит. Что же влечет его в первопрестольную? Конечно, во времена Радищева не было еще тех историософских сравнений двух столиц, которые характерны для эпохи Гоголя, Белинского, Аксаковых, Герцена, ибо не сложились твердо обозначившиеся идейные направления — славянофилов и западников. Но хоть направлений и не было, проблема уже была. И, кажется, одним из первых на нее обратил внимание Радищев<sup>1</sup>.

Вообще, проблем он поставил множество. До сих пор его и третируют, и апеллируют к нему, и не могут отказаться от него. Он и первый дворянский революционер, и «бунтовщик хуже Пугачева» (Екатерина II), он и первый западник (так его определил Герцен, найдя Радищеву антитезу в лице Михаила Щербатова — как предтечи славянофильства), он и первый интеллигент (Бердяев), и первый

русский гуманист (Эйдельман), римский стоик (скажем, Биллингтон), первый русский самоубийца (Чхартишвили). По мнению Григория Чхартишвили, Радищев проложил путь русским писателям-самоубийцам, не вынесшим политических катаклизмов России, «открыл длинный мартиролог русских писателей-самоубийц»<sup>2</sup>. Это и вправду стало расхожей мыслью. В фундаментальном труде Биллингтона, обобщившем основные точки зрения на русскую культуру, сказано: «Радищев был, быть может, первый, обративший специальное внимание на монолог Гамлета в своей последней работе: “О человеке, его смертности и бессмертии”, и решил вопрос, взяв собственную жизнь согласно этому образцу, в 1802. Последнее десятилетие восемнадцатого столетия отмечено числом аристократических самоубийств. Героическое самоубийство было рекомендовано римскими стоиками, которые были для аристократов восемнадцатого столетия героями классической античности»<sup>3</sup>. В римских республиканцев играли и деятели французского Конвента. Легенда об отравлении-самоубийстве Радищева идет от Пушкина (статья «Александр Радищев») и Герцена: «Налил себе стакан купоросного масла и выпил его»<sup>4</sup>. Очень хотелось иметь реального русского стоика, вроде римских. Мифов много, это один из них.

Начнем с него, попытаемся его разобрать.

Тема самоубийства у Радищева была (даже и в «Путешествии», в первых строках<sup>5</sup>), но скорее как дань моде, все бредили римским республиканизмом и стоицизмом. Ю. Лотман писал осторожно об этой теме у мыслителя: «...Радищевым поднимался вопрос о праве на самоубийство <...> Рассуждение о героическом самоубийстве, как следствии готовности погибнуть, но не покориться тирану, было удобной и вполне понятной читателю XVIII в. формой выражения <...> В литературе XVIII в. имелась прочная традиция прославления тираноборческих подвигов античных “героев-самоубийц”»<sup>6</sup>. Тирана перед Радищевым не было. Не похоже и то, чтоб человек, знавший, что болен дурной болезнью, убивший по сути жену, наградивший своих детей всеми последствиями этой болезни, публично (в «Путешествии») каявшийся в этом, затем таким же образом убивший свою свояченицу — вторую жену и ни разу не подумавший о самоубийстве как жесте раскаяния, испугался бы пустых слов вельможи, которые ему, человеку опытному, прошедшему реальный арест и острог, разумеется, не могли показаться серьезными. Каковыми они и не были. К тому же, как всем известно, самоубийцы хотят умереть, чтобы не страдать в этой жизни, и по возможности избегают мучительных смертей. Что же произошло?

Рассказывают обычно следующую историю. Радищев требовал в 1802 году в законодательной комиссии отмены крепостного права и дворянских привилегий. Граф Завадовский спросил его, не хочет ли он снова в Сибирь. Радищев бросился домой, выпил стакан чистящей ядовитой жидкости, которой его сын чистил эполеты, начались жуткие боли, пытался зарезаться бритвой, бритву отобрали. Умер в страшных муках. Такова история, с которой согласны все. Но, думаю, что если бы Радищев испугался сибирских тягот и бед, то вряд ли бы он избрал много более страшные предсмертные мучения в результате выпитой кислоты. Не случайно, выпив, хотел перерезать себе горло бритвой. Бритва и была той всеми отмеченной попыткой самоубийства, чтоб избавиться от диких болей, которые причиняла ему выпитая (похоже, что по ошибке) жидкость. К сожалению, я не могу доказать фактически это свое утверждение. Но ведь и сторонники версии самоубийства также не располагают никакими реальными фактами.

Существенно и то, что Радищев в свои последние годы был не в оппозиционном, а в правительственном лагере, ибо его антикрепостническая позиция по сути совпадала с позицией Александра I. Приведем соображения весьма кропотливого современного исследователя: «Последний год жизни Радищева отмечен усиленным вниманием к нему со стороны императора: Радищев был единственным из всех чиновников комиссии по составлению нового Уложения, вызванным на коронацию в Москву (вместе с графом Завадовским). В течение 1802 г. все прочнее делалось служебное положение Радищева, ему повышен оклад (с полутора тысяч до двух, что равняло Радищева с другими членами комиссии), возвращен орден Св. Владимира 4-й степени. Наконец, находясь в стесненном материальном положении, Радищев обращается к императору с просьбой о значительной денежной ссуде <...> В день смерти Радищева, когда весть о тяжелом состоянии писателя достигла Зимнего дворца, император присылает своего лейб-медика Виллие — факт, на важность которого обратил внимание Ю.М. Лотман. Кроме Радищева в девятнадцатом веке подобной чести удостоились еще только два русских писателя — Н.М. Карамзин и Пушкин»<sup>7</sup>.

На мой взгляд, загадка самоубийства — мнимая загадка. Думаю, большого и длинного обсуждения она не заслуживает. Задумаемся лучше о другом.

## Вектор движения

### Почему все же Москва?

Пишут в учебниках, что поэзия Пушкина есть итог, подведение итогов и завершение поэзии XVIII века, ответ на вопросы этого века. Но, думается, вопросы были много глубже и отвечал на них не только Пушкин, а весь XIX век. Но и XX век продолжал эти вопросы осмыслять. XVIII век, «столетье безумно и мудро» (Радищев), — это построение Петровской империи, а далее проверяется ее жизнеспособность. Весь век у петровских реформ есть друзья и враги. Но первые враги появились в конце XVIII века — это Пугачев и Радищев. Поэтому такой пристальный к ним интерес у наиболее последовательного сторонника Петра Великого (и его преобразований) — Пушкина.

У Герцена рядом поставлены два инакомысла этого столетия — Щербатов и Радищев. Только он считал, что Щербатов повернут назад, а «Радищев — смотрит вперед, на него пахнуло сильным веянием последних лет XVIII века»<sup>8</sup>. Радищев, в отличие от Щербатова, полагал Герцен, против *допетровской* жизни. Я бы позволил себе в этом усомниться. При этом, надо сказать, именно Герцен замечает, что «путешественник» «предается полному отчаянию»<sup>9</sup>. Противоречивость герценовской оценки здесь очевидна. Радищева с его легкой руки называют западником, а тот и сам каялся, что начитался возмутительных французских книжек<sup>10</sup>, но отсюда еще не следует его западничество, более того, мы знаем, что славянофилы начинали как раз с освоения западноевропейских идей.

Если посмотреть непредвзято на текст радищевского «Путешествия», то станет

очевидно: вся книга о возможной гибели Петербургской империи. Не случайно, комментируя Радищева, Герцен писал: «Петербургская Россия <...> очевидно, не есть достигнутое состояние, а достижение чего-то, это репные зубы, которые должны выпасть; она носит во всех начинаниях характер переходного, временного; империя стропил — столько же, сколько фасад, она не в самом деле, не “взаправду”, как говорят дети»<sup>11</sup>. Историческое движение постпетровской *имперской* России было из Москвы в Петербург. Само название книги Радищева требовало попятного движения, назад, в Москву. Начитавшийся немцев и французов — первый славянофил? Это, конечно, требует неких рассуждений, но они чуть дальше. Пока же, забегая вперед, замечу, что «Путешествие из Петербурга в Москву» — это даже на первый взгляд явный отказ от петербургской империи, возврат в московскую старину, когда были счастливы баре и поселяне, не было рекрутских наборов и пр. Певец империи Пушкин разделял взгляды Радищева на необходимость свободы, но полагал возможность свободы лишь в империи, ибо остальное — пугачевщина. Он ответил ему «Путешествием из Москвы в Петербург». К сожалению, мало кто вдумывается в символику названий этих двух путешествий. Пушкин полагал, что будущность России связана с движением из Москвы в Петербург.

Мы говорим о том, что Пушкин пытался возродить память о Радищеве, писал, что «вслед Радищеву восславил я свободу», но забываем, что сам он от этой строчки отказался и, думается, не только из цензурных соображений, а уточняя свою поэтическую и политическую позицию. Более того, признавая значение книги и отчаянную смелость поступка Радищева, Пушкин идейно по всем пунктам с ним не соглашается. Конечно, его мысль постоянно возвращается к радищевским темам, думаю, в том же регистре, в каком он постоянно обращался к теме Пугачева. Как к двум противникам Петровской империи и дела Петра. Пугачев им описывается вполне объективно, а в «Капитанской дочке» даже с симпатией, почти как Роб Рой. Там же Пушкин нарисует образ дворянина Швабрина, с испугу принявшего крестьянский бунт. *Тема Радищева?..*

Вчитаемся в комментарий Пушкина к словам Екатерины (поэт именно здесь видел причину ненависти императрицы к *путешественнику*): «...он хуже Пугачева; он хвалит Франклина. — Слово глубоко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению во едино всех разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть отторжение колоний от владычества Англии<sup>12</sup>. Радищев предан был суду. Сенат осудил его на смерть <...> Государыня смягчила приговор»<sup>13</sup>. Мрачная сила радищевских инвектив и пророчеств своей убежденностью в неминуемой гибели империи, своим невероятным дальновидением невольно напоминала, конечно, Франклина, но не только: можно вспомнить по крайней мере Нострадамуса, предсказавшего, как известно, падение французского королевского дома. Когда французская революция началась, все вспоминали исполнившееся пророчество Казота. И в атмосфере случившегося катаклизма, который казался потрясением мировых основ, пророчеств пугались не меньше, если не больше, чем прямых обличений. Не меньше крестьянской войны. С крестьянами уже научились справляться. Да к тому же Пугачев думал о *власти*, а не о развале империи. Такое придумать мог только субъект — *из своих*, Пугачев из университета, дворянский Нострадамус.

Постоянная тема его книги — о бренности величия: «Гордитесь, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени

вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основания правления законом не переменным. Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. — А на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. — Где пышная Троя, где Карфаген? — Едва ли видно место, где гордо они стояли» (с. 31, «Новгород»).

Причем, что любопытно, он пишет о бренности тех государств и их правителей, которые устанавливали правовую структуру. Поневоле можно поверить Бердяеву, что в основе мировоззрения Радищева лежит идея анархизма<sup>14</sup>. Проверим это на его отношении к самому Петру и его идейной преемнице — императрице Екатерине II.

Но для начала поглядим на степень неблагодарности, столь характерной для пишущего человека, и сегодня пытающегося отрицать дело Петра, забывающего, что без усилий Петра и Екатерины не было бы и его собственного образования, не было бы вообще русской классической литературы.

## Литература и империя

### Как начиналась новая русская литература?

Без сомнения, с Петровских реформ, скажет любой. Об этом еще и Пушкин писал: «Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но пронизательный. Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не влюбил Татищева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике *вечного труженика* Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмогорского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасского училища. Новая словесность, плод новообразованного общества, скоро должна была родиться»<sup>15</sup>. Что ж, инициированная реформами первого русского императора, она поначалу и была связана с задачами и успехами империи.

И вот уже сын «холмогорского рыбака», сиречь Ломоносов, обращается к императрице Елизавете, «Петровой дочери»:

Народов Твоя державы

Различна речь, одежды, нравы,

Но всех согласна похвала.

И просит Музу:

Гласи со мной в концы земные,

Коль ныне радостна Россия!

Она, коснувшись облаков,

Конца не зрит своей державы,

Гремящей насыщйна славы...

(«Ода на день восшествия на престол...», 1746.)

Именно обширность империи, разноставность ее народов, беспредельность Государства восхищают поэта. Это географическое величие страны должно подтвердить само *солнце*:

В Российской ты державе всходишь,

Над нею дневный путь проводишь

И в волны кроешь пламень свой...

(«Ода на день брачного сочетания...», 1745.)

Имперское сознание определяет творчество первых русских поэтов XVIII века, даже сатира Кантемира и Фонвизина решала вполне государственные задачи, была *служилой*, воспитывая подданных в должном духе, духе *государственного просветительства*. Что предполагало необходимыми составляющими «апофеозу» Отечества, его военной мощи, завоевательной политики, расширявшей пределы державы. Не только Ломоносов, но и второй великий поэт того же столетия — Державин, певец «Фелицы», гордо мог воскликнуть:

О кровь славян! Сын предков славных,

Несокрушаемый колосс!

Кому в величестве нет равных,

Взросший на полсвета росс!

(«На взятие Измаила».)

Иными словами, любовь к родине отождествлялась с любовью к империи. Радищев выдвигает иной принцип: «уязвленность» человеческими страданиями, стыд жить величием, когда страдают «малые сей земли». Послушаем Н. Эйдельмана:

«Радищев погиб, оставя главное наследие, свою совесть, свой стыд; они придают особую нервную энергию даже архаическим, малопонятным главам “Путешествия”»: и вот в чем, полагаем, главная тайна этой книги.

Радищевский стыд унаследовала великая русская литература, прежде всего писатели из дворян, которые “не умели” принадлежать своему классу»<sup>16</sup>.

Но так ли это? Ведь стыд за себя — категория не национальная, а все-таки общечеловеческая. Поэтому определять через нее пафос всей русской литературы кажется слишком опрометчивым. Было ведь и понятие «дворянской чести», и бунинская нелюбовь к «деревне». «Власть тьмы» даже Толстой увидел...

Существенно для нашей темы, однако, что этот стыд предполагал разрыв с имперским сознанием, противопоставление совестливой личности величию государства. Поэтому в момент торжественного и стремительного становления империи таможенный чиновник Александр Радищев издает полулегально книжку сентиментального путешественника, который в силу своей сентиментальности преисполняется состраданием к простому народу, встречаемому им на проезжей дороге. Он путешествует из Петербурга в Москву, а дорога эта даже в те времена занимала не более шести-семи дней. Обширности империи и проблем разных ее народов путешественник не заметил. Конечно, можно сказать, что немало и на этом пути ему удалось увидеть, о многом подумать. И вот, глядя окрест себя и уязвив свою душу страданиями человечества, а точнее, русского крестьянства, автор вдруг предрекает не больше, ни меньше, как грядущий *распад империи*, надеясь, что из этого для народа впоследствии благо. Именно это ставилось ему обычно в заслугу. Но был ли уж так напрямую связан распад империи с народным благом? Сегодня позволительно в этом если и не усомниться, то, во всяком случае, над этим задуматься.

Пушкин сказал о Петре: «кем наша двинулась земля». Почти то же самое говорит Радищев. Почти, да другое. В 1782 году 8 августа Радищев был на открытии памятника Петру Первому. Он как бы стыдится хвалить Петра: «И хотя бы *Петр* не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, что *дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия*. Да не уничижуся в мысли твоей, любезный друг, превознося хвалами столь *властного самодержавца, который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества*. Он мертв, а мертвому

льститинеможно!»<sup>17</sup> (курсив мой. — *В.К.*). Итак, мы возвращаемся к мысли Бердяева: неужели Радищев сторонник «дикой вольности»? Неужели ослепленность собственными чувствами может привести человека, заметившего ужасы французской революции, о которой он резко отрицательно написал в «Путешествии», к дикому отрицанию законопорядка?

В «Путешествии» Радищев весьма резко отзывается о французской революции: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы читали недавно, что народное собрание, толико же поступаая самодержавно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приговора. ОФранция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей» (с. 91, «Краткое повествование о происхождении цензуры»). У Радищева не было иллюзий относительно французской революции с самого начала<sup>18</sup>. Интересно, что Бастильскую крепость он называет пропастью. Но вот пафос империи ему чужд.

Желание вольности или страх бунта?

Интересна мысль Радищева: Петр дал стремление обширной громаде и он же убрал последние остатки вольности.

Но что такое вольность?

Радищев, говорят, был крепостник, крут с крестьянами. Впрочем, уже в первой главе он признается, что намеревался «сделать преступление на спине комиссарской» (с. 8, «София»), то есть обломать палку о спину дорожного зрителя, какого-нибудь Самсона Вырина. Сообщает, правда, об этом с сентиментальной ужимкой. По мнению французов, сентиментальность есть чувствительность грубых нервов. Сам Радищев оправдывался: «Примеры властвования суть заразительны» (с.72, «Хотиллов»). Но страх преследовал его. В конечном счете, можно сказать, что книга его есть реакция испуга на пугачевский бунт и попытка найти какой-то выход. Есть ли у народа иная возможность себя вести?

Вспомним строки К. Аксакова:

Раб в бунте опасней зверей,

На нож он меняет оковы...

Оружье свободных людей —



Свободное слово.

(«Свободное слово».)

А теперь слово Радищеву: «Но ведаете ли, любезные наши сограждане, коликая нам предстоит гибель, вколиккой мы вращаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим свободы мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усовершенствуют внутреннее чувство. Поток, загражденный в стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разлитии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се пагуба зверства разливается быстротечно<sup>19</sup>. Мы узрим окрест нас меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суровость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. Приведите себе на память прежние повествования. Даже обольщение колико яростных сотворило рабов на погубление господ своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властителей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали паче веселие мщениа, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно» (с. 72, «Хотиллов»).

Чего боялся, то и случилось.

\* \* \*

Стоит отвлечься в сторону немного, но идя путем Радищева. В августе 1999 года в Санкт-Петербурге была проведена конференция: «Философия как судьба: А.Н. Радищев. К 250-летию со дня рождения». А по окончании конференции оргкомитет<sup>20</sup> устроил участникам путешествие из Петербурга в Москву — путем Радищева. Дорога удивительная, жалко, что не было нового Радищева, чтоб всплакнуть на этой дороге, где горе запивали участники путешествия водкой под названием «Комиссар». Впрочем, наш герой кое-что предсказал, написав в своей знаменитой книге: «Когда нынешние державы от естественных и нравственных причин распадутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут ужи, змеи и жабы, — любопытный путешественник обрящет глаголющие остатки величия их...» (с. 74, «Вышний Волочок») <sup>21</sup>.

Держава распалась — не без некоторого участия нашего героя. И что же мы видели? Разрушенные имения. Развалившаяся кладка. Нет того барского уюта просвещенного вкуса, который любили дворяне конца XVIII века. Вот небольшие заметки из записной книжки той поездки, что остались случайно. Привожу записи в естественном беспорядке:

В расписании нашего путешествия написано: «Экскурсия по Волхову в Званку». Пароходик мелкий, все толпятся у борта, волны закручиваются и кучерявятся у

кормы, другого пути, кроме водного, в державинское имение не осталось. Наконец, причаливаем к пустому берегу. Там когда-то шла «жизнь званская», приглашались к обеду соседи, которым бывали обещаны «шексенинска стерлядь золотая, каймак и борщ, вина и пунш». Ныне сплошные заросли кустов и травы, имения не предчувствовалось даже.

Далее путь лежал через Крестцы, в программе стояло: «Крестцы, руины почтовой станции, дворца, церковь». Руины — это точно! Ничего, кроме руин!

Тверь, Христорождественский женский монастырь, христорождественский собор, построенный Карлом Ивановичем Росси в 1820 году. На двери прикреплена бумажка со следующей надписью:

«Сауна и спорт. Клуб не работает:

здесь теперь

м о н а с т ы р ь».

Заглянув в открытую дверь, видишь брусья, кольца, остатки шведской стенки; идет ремонт, интеллигентная монахиня с еврейским лицом говорит, что они восстанавливают общину, что уже у них четыре сестры.

Использование старых зданий: застенки НКВД в гимназии, страшная тюрьма в Борисоглебском монастыре под Тверью, воспитательный дом в усадьбе «Раёк» Глебовых-Стрешневых, санаторий в барском доме в Митино. В Митинской усадьбе надпись в барском туалете: «Прошу покорно ходить проворно!» Интересно, старая или новая? Через озеро перевоз. На голом пузе у толстого перевозчика-лодочника татуировка: «Когда я тебя накормлю?»

Опять Тверь. Банк «Менатеп», б-р Радищева, д. 52. ОБМЕН ВАЛЮТЫ.

Все радищевские испуги сбылись. На месте державинской Званки — полудикие лесные заросли, ничего не сохранилось. Два энтузиаста — Николай Николаевич Калинин и Андрей Всеволодович Татаринцев — водят любопытных, показывая виртуальную реальность: «Здесь был расположен дом, здесь Гаврила Романович любил сидеть, вон там шла липовая аллея, и мы думаем, что именно меж тех шести лип он захоронил любимую собачку». Продираемся по узкой, плохо протоптанной тропе меж высокой травы, кругом ямы, тропа то вверх, то вниз, просят не оступиться и быть осторожнее — ползают змеи. Впрочем, когда-то сам Державин пошутил: «Здесь царство комарье, / Царица им Дарья». Жены Даши давно уже нет, а комары остались.

Отличие сегодняшней поездки от радищевского путешествия, что никто здесь не пашет, нет работающих крестьян, все заросло дикой травой и бурьяном. Сельское хозяйство практически прекратило свое существование.

\* \* \*

Ю. Карякин и Е. Плимак в своей известной книге обещали *развенчать либеральную*

легенду о Радищеве. Они пишут: «Сталкивая выразителей различных общественных мнений, сопоставляя различные точки зрения, заставляя своих положительных героев отбрасывать одну иллюзию за другой, Радищев подводит читателя к революционным выводам <...> Революционное просветительство в настоящем, народная революция в будущем — таков “Проект в будущем” Радищева, таков его ответ на вопрос “что делать?” — великий вопрос всей русской демократической литературы XVIII—XIX вв.»<sup>22</sup>. И так, по их мнению, перед нами первый сознательный дворянский революционер. К тому же явный намек, что более гуманный, чем последующие радикалы. Однако немецкий исследователь остроумно назвал Радищева «приемным отцом», даже, точнее, «отчимом» (Ziehvater)<sup>23</sup> русского революционного движения.

Зачем же Радищев писал «Вольность»? Неужели как призыв к революции? Ведь там отношение к вольности у него весьма двойственное. Правда, авторы (Карякин и Плимак) полагают, что мыслитель изменил свое отношение к бунту после робеспьеровского террора 1893 года: «К концу 90-х годов концепция Радищева приняла резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель был за революционное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением диктатуры, гражданские войны в этом отношении ничем не отличаются от всякого рода завоевательных походов и войн»<sup>24</sup>. Но на самом деле именно в «Путешествии» (в 1890 году, напоминая), в главе «Тверь», пишет он ту фразу, которая приводится авторами как пример его отрезвления: «Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...» (с. 102, «Тверь»). Это примечание путешественника к оде «Вольность». Но ведь и сама ода «Вольность» написана в 1781—1783 годах, так что делать из ее текста выводы о возможных аллюзиях на Французскую революцию и вовсе полная нелепость. В этой оде можно прочесть идейную схему его путешествия: вольность необходима, но она и катастрофична. Крестьяне законов не знают: они способны только на бунт. И как же с ними поступать? Полная безысходность. Выхода нет. И уж совсем нет выхода в революцию.

В книге есть слова о законе, с которым автор сопрягает вольность. Стихотворец говорит путешественнику: «Я ее развернул и читал следующее: — Вольность... Ода... — За одно название отказали мне издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении нового уложения, говоря о вольности, сказано: “вольностию называть должно то, что все одинаковым повинуются законам”. Следственно, о вольности у нас говорить вместно» (с. 96, «Тверь»). Но еще раньше, в главе «Едрово», он увещает крестьян, пытавшихся покарать барина за блуд с крестьянками: «Известно в деревне было, что он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крестьяне, вы искали правосудия в самозванце! но почто не поведали вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской смерти, и вы бы невинны остались. А теперь злодей сей спасен» (с. 62, «Едрово»). Правда, там же он замечает, что «крестьянин в законе мертв». А стало быть, и решения по-прежнему нет.

Вольность не может предотвратить бунт.

Зачем же пишет он свою книгу?

## Книга

В дневнике А. Никитенко, как реакция на герценовский конволют, зафиксировано общее представление, как «Путешествие» явилось в свет: «Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типографчики не хотели печатать, несмотря на то, что обер-полицмейстер, тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу и разбросал ее по дорогам, на постоянных дворах и т. д. Он же говорит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и подвергнуть преследованию своего автора. Это было в разгар французской революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испугалась таких сочинений, как “Вадим” Княжнина и книга Радищева»<sup>25</sup>.

Екатерина после жестких определений насчет «бунтовщика хуже Пугачева», «мартиниста», сторонника «Франклина» в окончательной редакции приговора назвала «Путешествие» «вредными умствованиями». Сам Радищев резонно оправдывался, что он вовсе не собирался звать народ к бунту, что по самому стилю книги видна ее непригодность для народного чтения, поэтому приписывание ему такого замысла нелепо. Он писал в тюрьме 6 июля 1790 года: «Если кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг не читает, что писана она слогом, для простаго народа не внятным, что и напечатано ее очень мало, не целое издание или завод, а только половина. И может ли мыслить осем, кто общников не имеет; возмог ли я помыслить, что почесть меня таким возможно»<sup>26</sup>. Конечно, разбрасывать такую книгу по дорогам и постоянным дворам было бы нелепостью.

Слог ее действительно невнятен. Это слог человека, конечно, обращающегося не к народу, а к правителям. Слог пророка. Об этом необходимо два слова. Начну с отношения к языку Радищева. Американский исследователь, человек весьма глубокомысленный, тем не менее из-за малопонятного слога отказывает книге даже в смысле: «Написана книга ужасно, и если исходить из одних ее литературных достоинств, вряд ли вообще заслуживает упоминания. В ней царит такая идеологическая путаница, что критики и по сей день не сойдутся в том, какую же цель ставил себе автор: призыв к насильственным переменам или просто предупреждение, что если вовремя не провести реформ, то бунт неизбежен»<sup>27</sup>. А, скажем, Г. Плеханов, при всем его уважении к «революционаризму» Радищева, считал, что самый главный недостаток знаменитой книги — это плохой язык. В его сочинениях, писал Плеханов, на каждом шагу встречаются «славянщины», чем большее значение имеет в его глазах предмет, о котором он пишет, тем охотнее облакает он свои мысли в тяжеловесное церковно-славянское одеяние. Но «славянщина» — это библеизмы, это тот язык, на который была переведена Библия. Как уже замечали исследователи<sup>28</sup>, книга Радищева переполнена не просто церковнославянизмами, но именно библеизмами, постоянными внутренними отсылками к Библии. К сожалению, у меня нет под рукой текста этого доклада, но

примеры подыскать нетрудно.

Например: «Блажен возрыдавший, надеясь на утешителя; блажен живущий иногда в будущем; блажен живущий в мечтании» (с. 7, «Выезд») — очевидный парафраз евангельских слов Христа. Иногда он просто переносит свое движение в некое вневременное пространство как бы выходя за пределы земного, своего рода посланник свыше: «Зимой ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. Может быть, и зимою и летом» (с. 10, «Любани»). В другой главе отец обращается к сыну со словами наставления, которые более подошли бы в качестве наставления христианскому мученику: «Не бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздробится о твердь твою» (с. 53, «Крестыцы»). И так далее. Герцен сравнивает Радищева с пророком Даниилом, хотя и отказывает соотечественнику в пророческом даре: «Радищев не стоит Даниилом в приемной Зимнего дворца <...> Он не имеет личного озлобления против Екатерины...»<sup>29</sup>. Но невольное сравнение начинает работать само по себе.

Даниил был мудрый и смирный еврейский юноша, выросший и воспитанный в Вавилоне. Когда-то он разгадал сон Навуходоносора, сообщив тому, что вскоре возникнет несокрушимое государство вместо Вавилона. Скорее всего, речь шла о царстве небесном. Но российские мыслители хотели видеть в этом царстве Россию. Тютчеву принадлежит весьма известное политическое стихотворение «Русская география», где он предрекает, что Россия будет всемирной империей:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

(1848 или 1849.)

Поэт ссылается здесь на ветхозаветное пророчество (*на книгу пророка Даниила*) о том времени, когда «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (*Дан. 2, 44*). Но, стало быть, текст Даниила существовал в сознании государственно мыслящих русских писателей. Однако текст обширен, и главная его мысль все же не в этом предсказании. Более того, в культурное сознание Даниил вошел еще и как пророк, предсказавший падение великой империи<sup>30</sup>. Не Навуходоносора, как излагал Меньшиков, а Валтасара, забывшего о работе правителя. Валтасар, сын Навуходоносора, среди роскоши пира, в окружении жен и наложниц, вдруг увидел «как вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского» (*Дан. 5, 5*). Испуганный Валтасар позвал Даниила, чтобы тот объяснил написанное. Даниил

сказал: «Вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и Персам» (*Дан. 5, 25—28*). Кончается текст о Валтасаре словами: «В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидянин принял царство, будучи шестидесяти двух лет» (*Дан. 5, 30—31*).

И вот что мы читаем в главе «Тверь», где путешественник пересказывает оду «Вольность»: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет пространнее» (с. 102, «Тверь»). Совпадение с пророчеством Даниила поразительное, да еще торжественный библейский тон. Кажется, Екатерина и Пушкин были правы, увидев именно здесь болевую точку книги. А Герцен недооценил апокалиптичность текста. Впрочем, сам автор книги добавляет: «Но время еще не пришло» (там же).

Разумеется, бессмысленно было разбрасывать такую книгу по дорогам и постоянным дворам. Он обращался к тем, кто мог хоть мало-мало понять ее непростой смысл. В показаниях он сообщает: «Экземпляров я роздал очень мало, да и не имел намерения моего много отдавать, а хотел употребить их в продажу для прибитка. Один экземпляр г. Козодавлеву, ему же один для г. Державина <...> Если спросят, с каким намерением я их раздавал, то только, чтобы читали, ибо все они упражняются в литературе»<sup>31</sup>.

Разумеется, все повели себя по-разному. Имперский поэт Державин, воевавший с Пугачевым, делавший все для укрепления Российской империи, не мог не почувствовать страшного пророчества Радищева. И, разумеется, отдал книгу императрице как реальной защитнице новой мировой империи. Считается, что Радищев знал об этом: «Сам Радищев рассказывал, что Державин поднес Екатерине присланный ему экземпляр “Путешествия”, отметив карандашом важнейшие места. Так по крайней мере свидетельствует сын Радищева (см. “Русский Вестник”. 1838 г. № 23. Стр. 430)»<sup>32</sup>.

Державин, передавший свое перо Пушкину, будущему «певцу империи и свободы» (Г.П. Федотов), прекрасно понимал смысл и отчасти правоту написанного Радищевым. Но также чутьем царедворца угадывал несвоевременность пророческих высказываний. Поэтому, после отправки Радищева в Сибирь, написал иронически:

Езда твоя в Москву со истиною сходна,

Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна,

Я слышу, наконец ямщик кричит: вирь, вирь!

Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь<sup>33</sup>.

Не забудем, что книга полна обличительного пафоса, который в тогдашней русской

литературе можно было сравнить только с пафосом Аввакума. Аввакум почитал себя почти пророком. К кому же обращались, как правило, пророки? Пророк, обличая царя и народ, к кому обращается — к царю, к народу? Обращать печатное слово к неграмотному народу было абсолютно бессмысленно. Здесь Радищев нисколько не лукавил. Значит, к императрице.

Говорят, что тип путешествия взят им у Стерна (А. Веселовский и др.). Но Стерн ироник, а путешественник Радищева сентиментален, наподобие руссоистски начитанного дворянина. Некая сентиментальная интонация очевидно идет от французов, но сам жанр путешествий был весьма характерен также и для древнерусской литературы, опыт которой Радищев не только учитывал, но и использовал в тексте (глава о страннике, поющем об Алексее человеке Божиим). Более того, он и дальше работал с этими текстами. Но еще здесь можно увидеть и сравнение внутреннее себя со святыми. Как пишет в своем фундаментальном исследовании о XVIII веке Т. Артемьева, «сидя в 1790 г. в тюрьме в ожидании казни, Радищев начинает писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой вел жизнь столь добродетельную, что был *удостоен права знать время своей кончины*, и преставился в 792 г., практически ровно за тысячу лет до предполагаемой казни Радищева, со словами молитвы Господней на устах. Возможно, это житие — персонализация и определенная идентификация жизни самого Радищева, не могущего не заметить эти знаменательные совпадения»<sup>34</sup>.

Но мог ли почитать он себя святым?

## Секс и покаяние

С библейской прямоотой и простодушием говорит Радищев о сексуальных проблемах. Он описывает сластолюбие помещиков, превращавших крепостных женщин в свой гарем. Здесь не только прообразы сладострастников дворян Достоевского (Свидригайлова, Ставрогина), но и абсолютно откровенное признание в собственных сексуальных грехах, даже не в грехах, а последствиях этих грехов — дурной болезни (о таком мало кто публично мог исповедаться — в русской, да и европейской литературе XVIII—XIX столетий второй такой исповеди нет). Хотя о болезни Ницше и было известно, но признаний таких мы у него не находим. Радищев описал преждевременную смерть своего любимейшего друга Федора Ушакова, которому, похоже, он во многом подражал, от сифилиса. А теперь, в «Путешествии», Радищев обвиняет себя (свою дурную болезнь) в преждевременной смерти жены, болезнях детей. Выпишем подробнее его слова, как правило, обходимые исследователями, словно не замечаемые ими. (Может, и вправду текстов Радищева не читают, а пользуются цитатами из предыдущих исследований, рассматривавших автора «Путешествия» лишь с гражданской точки зрения, как первого русского революционера, интеллигента и т.п.)

Екатерина, сама далеко не безгрешная, это очень отчетливо увидела: «Стр. 197, 198, 199, 200, 201 описывают следствия дурной болезни, которую сочинитель имел; вины ею же оной приписывает на 202 стр. правительству, а на 203 совокупляет к

тому брани и ругательства на проповедующих всегда мир и тишину»<sup>35</sup>. Что она имеет в виду?

Столкнувшись с похоронами, на которых отец обвиняет себя в преждевременной смерти сына, путешественник обращается к себе: «Нечаянный хлад разлился в моих жилах. Я оцепенел <...> Воспомню дни распутные моего юности. Привел на память все случаи, когда встревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая мздоимную участницу любовных утех истинным предметом горячности. Воспомню, что невоздержание в любострастии навлекло телу моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испускала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалась! Прияв отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но и даем ее в наследие нашему потомству. — О друзья мои возлюбленные, о чада души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда вами ощущаемой <...> Согрешил пред вами, отравив жизненные ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смертоносный яд, источаясь в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровеннее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она же не остерегалась отравителя своего в горячности своей к нему. Воспаление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной ей мною отравы... О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!» (с. 57, «Яжелбицы»). Это настоящее покаяние, после которого, как бы очистившись, он смеет судить окружающий мир.

Сразу после покаяния, этой мрачной и страшной исповеди, в которой он все же не только себя, но и правительство обвиняет, которое «дозволяя распутством мздоимное, отвергает не токмо путь ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан» (там же). Оказывается, власть виновата в его бедах. Но и народ тоже грешен. Он переходит к теме народного распутства в главке «Валдай». И пишет своего рода «Сатирикон». Из этой главки становится понятно, что не с далекого запада, а из народной глубины пошли нынешние «сауны с интимом» или «салоны массажные с интимом». Вот отрывок из этой главки: «Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой Ладе. Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные члены; омывают его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его именем» (с. 58, «Валдай»). Итак, народ даже в любви дик, и пугачевское восстание не случайность.

Эта главка — как некая загадка. Она следует прямо за его покаянием. Либо распутство, здесь описанное, — продолжение ужаса пугачевщины, либо шаг к самооправданию, что и он, как народ, также грешен: тем более здесь пересказ легенды о российских Геро и Леандре. Во всяком случае, эта исповедь в своих грехах позволяет путешественнику не только выступить с проповедью против



правительства, как подметила Екатерина, но и словно бы почувствовать себя прощенным — пусть не для новых грехов, но для новых подобных же чувствований. Сифилис Ницше или Ленина, думаю, сыграл немалую роль в их ригоризме по отношению к миру. Причем себя из этой системы инвектив сифилитик исключает. Покаялся — и довольно...

Надо сказать, что в речах со встреченной крестьянкой Анютой путешественник своим плохо скрываемым сладострастием очень напоминает старика Карамазова или генерала из «Бобка», любившего всяких женщин, а свеженьких особенно: «Я люблю женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей нежности, — мурлычет он, — а более люблю сельских женщин, или крестьянок, для того, что они не знают еще притворства, не налагают на себя личины притворных любви, а когда любят, то любят от всего сердца и искренно...» (с. 61, «Едрово»). Заметим, что он словно бы забывает об угнетающей его дурной болезни...

### Сознающий свой грех

Итак, критиком существующего выступает не праведник, а грешник. Едва ли не впервые в истории, скажем мы. Но и поправим себя. Впервые ли?

Все любят цитировать вступление, особенно строки: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала» (с. 6, «А. М. К.»).

Вторую фразу при цитировании обычно опускают, а без нее непонятна первая: «Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто оттого только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы» (там же).

Книга эта — очень личное высказывание. Что думал, то и сказал. Но не скажи он правды о себе, вряд ли обличения его были бы столь сильны.

Быть может, видеть собственный грех, значит, иметь право сказать и о грехах других? Все безумцы и юродивые — обличали. Радищев — первый сумасшедший среди русских писателей.

Об этом точно сказал Пушкин: «...*Преступление Радищева покажется нам действием сумасшедшего* (курсив мой. — В.К.). Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря на многочисленность своих соумышленников, полагается на безнаказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а “Путешествие в Москву”

весьма посредственную книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостию»<sup>36</sup>.

Он не надел даже «колпака юродивого», как Пушкин в «Борисе Годунове». Это, конечно, жест и поступок пророка. Он рискует собой, никем больше, ибо именье остается детям. Он хочет пострадать за свои грехи. И пострадать не попусту, а с каким-то главным смыслом. Но, каюсь, он пытается доказать, что не он один виноват. Виноваты все. Об этом текст книги: «— О Богочеловек! Почто писал Ты закон Твой для варваров. Они, крестятся во имя Твое, кровавые приносят жертвы злобе. Почто Ты для них мягкосерд был? Вместо обещания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую и, совесть возжигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. — Таковые размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко и не просыпался долго» (с. 21—22, «Спасская полесть»).

Надо сказать, идея полного самоуничужения человека, которое приводит его в результате к высочайшему духовному подъему, очень была свойственна высокой литературе XVIII века. В 80-е годы, почти параллельно с радищевским «Путешествием», Державин писал свою гениальную оду «Бог» (1784), где стояли строки, которые просятся в параллель к покаянной исповеди Радищева, переходящей в громовые обличения неправды:

«Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я бог!»

Только больной человек способен понять и почувствовать другую болезнь, только страдающий совестью за свои прегрешения способен совестливо взглянуть окрест себя и во всех увидеть таких же грешников и понять относительность форм бытия и государственного устройства. Все смертно, все преходяще. Достоевский полагал, что болезнь настраивает определенным образом чувства человека, помогая ему постигать болезненные проблемы, даже миры иные. Томас Манн видел в болезни предпосылку творчества. Исток радищевского страдания — прежде всего собственная вина перед самыми близкими.

Екатерина тоже была грешной, об этом современникам хорошо было известно. Не случайно именно Екатерину Радищев хотел бы взять в союзники.

Вся книга есть по сути дела докладная записка Екатерине, апелляция к ее вкусам, ругание масонов, французской революции, иногда и явное *подмигивание* императрице. В «оковах рабства» автор готов «зрети змию, совершившую падение первого человека» (с. 72, «Хотиллов»). Сам он пал точно так же, как первый человек,

но он хочет отныне ополчиться на власть одного человека над другим. Поэтому ищет сочувствия у высшей власти: «Примеры властвования суть заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные палицею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление граждан, мы поползнули, может быть, на действия самовластия, и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого стремились, но поступок наш державный полезностию своею оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего неумышленного дерзновения» (там же). Последняя фраза — прямое обращение к императрице. Сама императрица ведь утверждала (и подданным были, очевидно, ведомы ее строки): «Хочу установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедворец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь к милости»<sup>37</sup>. Поэтому она должна была, по его разумению, понять и принять его позицию, продиктованную *государственным смыслом*, предупреждающим о возможном крестьянском восстании.

Кстати, забегая вперед, заметим, что, несмотря на возмущение императрицы, она отменила смертную казнь за книгу, приписав сочинителю всего навсего «вредные умствования»: Именной манифест от 4 сентября 1790 года под названием «О наказании Коллежского Советника Радищева за издание книги, наполненной вредными умствованиями, оскорбительными и неистовыми выражениями против сана и власти Царской» гласил: «Коллежский Советник и ордена Св. Владимира Кавалер Александр Радищев оказался в преступлении противу присяги его и должности изданием книги под названием *Путешествие из Петербурга в Москву*, наполненной самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изречениями противу сана и власти Царской, учинив сверх этого лживый поступок, прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной его Типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. За таковое его преступление осужден он Палатою Уголовных дел Санктпетербургской губернии, а потом и Сенатом Нашим, на основании Государственных узаконений к смертной казни; и, хотя, по роду толь важной вины, заслуживает он свою казнь по точной силе законов, означенными местами ему приговоренную; но Мы, последуя правилам Нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием для всеобщей радости, которую верные подданные Наши разделяют с нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал Наши неусыпные труды во благо Империи, от Него Нам вверенной, вожделенным миром с Швециею, освобождаем его от лишения живота, и повелеваем, вместо того, отобрав у него чины, знаки ордена Св. Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог на десятилетнее безвыходное пребывание; имение, буде у него есть, оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их»<sup>38</sup>.

Заметим и то, что Радищев, как известно, знал трактат Гельвеция «О человеке», знал и слова, где Гельвеций рассуждает об азиатском деспотизме. Приведем его слова: «Разве Восток свободен, освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго с каждым днем становится более тяжелым. Деспот измеряет свою славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокостями, которые совершаются над трепещущими рабами. Каждый день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто жалеет о народе в присутствии деспота, является его

врагом, а кто дает по этому поводу советы своему господину, *омывает* — по словам поэта Саади — *руки в своей собственной крови*<sup>39</sup>. Однако книга русского мыслителя была своеобразной азартной игрой с возможной смертью. Радищев знал этот текст Гельвеция и обращался к Екатерине, которую он в какой-то степени мог считать восточным деспотом, достаточно мужественно. Конечно, он мог омыть руки в собственной крови. Правда, была тайная надежда, что она примет его идеи и не накажет его, поскольку все же тоже ученица Гельвеция и Монтескье. Запрет казни Радищева выразил желание Екатерины слыть не восточным деспотом, а просвещенной императрицей. Ведь было сказано Монтескье: «Не ищите великодушия в деспотических государствах...»<sup>40</sup>. Екатериной великодушие было проявлено.

### Инвективы

В чем же обвинял Радищев империю? Ну да, пугал крестьянским бунтом. Упрекал помещиков за распутство с крестьянками, бросал фразу, что «крестьянин в законе мертв», но чудовищного угнетения, страшного голода, который в начале 30-х годов XX века пережил Советский Союз, и вообразить не мог. Интересно наблюдение иностранца в эти же годы над обеспеченностью крестьян: «Русское простонародье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов»<sup>41</sup>.

Радищев, правда, недоволен, что крестьяне сахара не знают и кофию не пьют (хотя крепостная нянюшка его *пила по пять кофейников*), что шестидневную барщину несут, а потому вынуждены работать на себя в выходные дни. Конечно, после колхозной работы его упрек выглядит наивно. Не будем, однако, забегать вперед XVIII века. Радищев восклицает: «Страшись, помещик жестокосердый, на челе каждого из твоих крестьян вижу твое осуждение» (с. 11, «Любани»). Но это все слова, как сказал бы Гамлет. На самом деле его опять мучит собственная вина: «Если я кого ударю, тот и меня ударить может. — Вспомни тот день, как Петрушка пьян был и не успел тебя одеть. Вспомни о его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяной, опомнился и тебе отвечал бы соразмерно твоему вопросу!» (с. 12, «Любани»). Как отвечал бы пьяный крепостной, если б сумел, известно — зарезал бы барина<sup>42</sup>. Но он и на это готов, ибо очень вину свою чувствует.

Бунт страшен, но виноваты мы, дворяне, вот его вывод. А самое главное, что Петербургская империя построена так, что человеческая жизнь в ней ничего не стоит. Вспомним, что почти в самом начале книги он пересказывает эпизод, поведенный его приятелем Челищевым, о том, как чуть было вблизи Петергофа не погибла лодка и как чудом добравшийся до берега рассказчик не мог упротить морского петербургского чиновника помочь гибнущим людям, поскольку чиновник «еще почивал» (с. 15, «Чудово»).

В своих показаниях 1 июля 1790 года Радищев пишет о морском происшествии. Из

его строк ясно, что указание на Петербург было сознательно: «Происшествие в Чудове описанное было в самом деле, и я спящаго Систербецкаго начальника сравнил с Субабом, дабы он устыдился. Но теперь, проходя книгу, чувствую, что оскорбил твою священную особу, сказав, что близ столицы сие совершилося. Виновен, всемилостивейшая государыня, но виновен, милосердая, в разсудке, но не в сердце; виновен в дерзновенных выражениях, но, чувствуя великия твои дела, инако не мог тебя назвать, как великая государыня»<sup>43</sup>.

В рассказе приятеля об этом происшествии, слог его приобретает библейско-пророческую силу: «Совершив мою молитву, ярость вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, что в наш век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя совершалось такое бесчеловечие! Я вспомню о заключенных агличанах в темнице бенгальского субаба» (с. 15—16, «Чудово»).

Место ключевое для понимания замысла всей книги, поэтому посмею остановиться на нем подробнее. В сноске к этому эпизоду Радищев приводит цитату из книги Реналя «История о Индиях»: «...субаб, собрав войско, приступил к городу и оной взял. Аглинских военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они в полсутки издохли. Осталось от них только двадцать три человека. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестит владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том властителю. “Почивает он”, — ответствовано умирающим агличанам; и ни один человек в Бенгале не мнил, что для спасения жизни ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгновение» (с. 16, «Чудово»). Поминая о «черной яме» в Калькутте, где умирали англичане, поскольку не решались разбудить вице-короля, Лотман полагает, что это из книги Гельвеция «О человеке», где, полемизируя с Руссо, автор доказывал, что невежество и непросвещенность рожают не свободу, а рабство. При этом он ссылаясь на «восточный деспотизм», связывая его не с климатом и величиной территорий, а именно с «непросвещенностью правлений»<sup>44</sup>. Резон для такого предположения, безусловно, есть, поскольку Гельвеция Радищев знал весьма хорошо, а в книге «О человеке» французский философ приводит тот же эпизод. Но для Гельвеция подобное отношение к людям — типичное проявление восточного деспотизма.

Правда, Гельвеций исключил Россию из системы «асийского» правления: «Положим, что гуроны или ирокезы столь невежественны, как того хочет Руссо. Но я не считал бы их в силу этого более счастливыми. Народ обязан своими добродетелями, своим процветанием, своим населением и своим могуществом просвещению и мудрости своего законодательства. Когда русские стали угрозой для Европы? Когда царь принудил их к просвещению. Руссо на стр. 30 т. III “Эмиля” категорически утверждает, “что искусство, науки, философия и обычаи, которые она порождает, вскоре превратят Европу в пустыню, что знания портят нравы”. Но на чем основано это мнение? Чтобы добросовестно защищать этот парадокс, следовало бы никогда не обращать своих взоров на государство с такими столицами, как Константинополь, Исфахань, Дели, Мекинез, ни на одну из тех стран, где невежеству одинаково воскуряют фимиам как в мечетях, так и во дворцах <...> Небольшой кучки европейцев достаточно, чтобы сокрушить все их могущество. Таково в значительной части Востока положение народов, обреченных на это прославленное невежество»<sup>45</sup>. Со времен Петра Россия сражается не просто на равных с европейскими странами, но и побеждает их. Для Радищева военные

победы еще не показатель европеизма.

Лотман замечал: «...В радищевской реминисценции содержалась и скрытая полемика с Гельвецием: относя Индию к странам непросвещения и деспотизма, французский философ, правда в сдержанной и осторожной форме, намекнул, что Россия, которую просветил Петр I, должна быть исключена из этого ряда. Радищев прямо отождествил Россию с “асийским правлением”»<sup>46</sup>.

По Радищеву, «асийское рабство» — главная вина империи. Какой может быть сила империи, когда основное ее национальное ядро находится в рабстве!? «Наслаждаясь внутреннею тишиною, внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженства гражданского сожития, — пишет Радищев, — неужели толико чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поношение дальнейшего потомства треть целую общников наших, сограждан нам равных, братьев возлюбленных в естестве, в тяжких узах рабства и неволи? Зверской обычай поработать себе подобного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаменелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли быстротечно, широко и далеко»<sup>47</sup>. И мы, сыны славы, мы, именем и делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду нашему, ко стыду прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили его нерушимо даже до сего дня» (с. 66—67, «Хотилов»)<sup>48</sup>.

Екатерина хотела рабское имя переделать в имя славы, более того, не раз высказывалась: «Свобода, душа всего, без тебя все мертво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов»<sup>49</sup>. Но сохранила рабство этих самых славян, что было противоречием внутри объекта. Поэтому и с этим спорит путешественник: «Но что обретаем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутость и истощение» (с. 70, «Хотилов»). Заметим, что «Проект в будущем», изложенный в главе «Хотилов», находился в утерянных бумагах человека, который, по словам почтальона, ехал «по подорожной в Петербург» (с. 73, «Хотилов»). Бумаги принадлежали другу путешественника и, видимо, не надеясь в Петербурге на государственный прок от них, «он, — замечает Радищев, — их от меня доселе не требовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу» (там же).

#### Петербург как первопричина «асийства»

Как мы помним, именно Петра обвинил Радищев в отнятии последней вольности у русских, Петра, «*который истребил последние признаки дикой вольности своего отечества*». Он понимал величие петровского дела, и все же в конце описания постановки памятника суров по отношению к Преобразователю: «И я скажу, что мог бы *Петр* славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную...»<sup>50</sup>.

Парадокс Радищева я бы объяснил его *неисторизмом*. Он сравнивал современную ему Россию с Западной Европой, а не с тем ужасом рабства Московского царства, из которого пытался Петр вытащить Россию. Зато в прошлом находил он нечто хорошее. Любопытно, что, осуждая Петра, Радищев оправдывает Ивана Грозного за разорение Новгорода. Когда между народами возникает вражда, замечает он, «когда ненависть или корысть устремляет их друг на друга, судия их есть меч. *Кто пал мертв или обезоружен, тот и виновен*; повинется непрекословно сему решению, и апелляции на оное нет. — Вот почему Новгород принадлежал царю Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся его остатки себе присвоил» (с. 32, «Новгород»; курсив мой. — В.К.).

Конечно, можно бы было, наподобие француза Сегюра, видеть в Петербурге смесь европеизма и «асийства»: «Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу»<sup>51</sup>.

Но самое страшное, что увидел и показал Радищев: это «блестящее гордое дворянство» ведет себя, как дикие «асийские» владыки. Поэтому так подробно останавливается в самом начале повествования на приключении его приятеля Ч. на тонущей барке под Петергофом и отказе чиновника помочь гибнущим людям. Продолжая свой рассказ, приятель заключает: «В Петербурге я о сем рассказывал тому и другому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы потонули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не предписано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом навеки. Не въеду николи *в сие жилище тигров* (курсив мой. — В.К.). Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого до издыхания и раболепствовать власти» (с. 16, «Чудово»).

Радищев, конечно, пишет, что неполадки бывают везде, хотя очевидно его полное согласие с приятелем, что «вольность частная», как была нарушена Петром, так и не собирается быть восстановленной ныне. Об этом достаточно ясно сказано в следующей главе: «Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неурядица в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез: — Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить с тюленями. — И, с видом негодования простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно» (с. 17, «Спаскаяполесь»).

Это, по сути, последние строки перед выездом из Питера, и в них как раз дана характеристика столицы как «жилища тигров», которые «раболепствуют» перед властью. Где жизнь и достоинство человека ничего не стоят. Такого неприятия Питера до Радищева не было в русской литературе, это уже иное, чем пророчества простонародья и бояр, что «Петербургу быть пусту». Славянофилы с их неприятием Петербурга, Гоголь с капитаном Копейкиным, описавшим властных тигров, прямо следовали этому умонастроению.

Дальнейшая описываемая путешественником несчастная жизнь России устроится

из этого «жилища тигров». Петербург поневоле отвечает за все. Стуит под этим углом зрения глянуть на книгу — и невольно поразишься! Уже в третьей главке «Тосна» он недоволен дорогами, идущими из Петербурга, ибо делались они хорошими лишь для государя: «Поехавши из Петербурга, я воображал себе, что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но на малое время» (с. 9, «Тосна») <sup>52</sup>. В той же главе он иронизирует над петровской табелью о рангах и советует составителю родословных, чтобы тот, «приехав в Петербург», «продал бы бумагу свою на вес разносчикам» (с. 10, «Тосна»). Кому нужны родословные в Петербурге, где все живут искательством!

И опять *петербургская скверна*. В «Спасской полести» вначале рассказывается о государевом наместнике, который, будучи в Петербурге, приучился есть *устерсы*. «... как попал в наместники и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы устерсы кушать» (с. 17, «Спасская полость»). И уже казенного курьера стал гонять в Петербург за «устерсами». Такой разговор присяжного с женой слышит путешественник, ночуя в избе. А присяжный жалуется, что чины даются тому, кто за «устерсами» ездит, а не за беспорочную службу. Вот и еще штришок к петербургскому разврату и неправде.

В той же главе рассказ о коммерческом питерском жульничестве, в результате которого честный человек лишился имения, жена с ребенком умерли от родовой горячки, а верный друг едва успел предупредить: «Тебя пришли взять под стражу, команда на дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить твою судьбу» (с. 21, «Спасская полость»). Бегство в Москву видится спасением. Хотя именно в Москве казнил Петр Великий стрельцов, а Екатерина II не случайно приказала казнить Пугачева тоже в Москве, видя в старой столице внутреннее сопротивление Петербургской империи.

Это уже тридцать лет спустя Чацкий воскликнет:

«Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок».

А Ахматова спустя сто пятьдесят лет и вовсе страшное произнесет:

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,

Там зверства древнего еще кишат микробы:

Бориса дикий страх и всех иванов злобы,

И самозванца спесь взамен народных прав.



(Стансы, апрель 1940.)

В главке «Подберезье» сталкивается он с семинаристом, исповедующим мартинизм (масоном), который стремится в Петербург для приобретения знаний. Поскольку Екатерина противница масонов, да и себя он выказывает таковым же, то Петербург приобретает характер места и рассадника заразы. Себя же Радищев от масонства обеляет как может. Прочитав отрывок семинариста, замечает: «На мартиниста похоже; на ученика Шведенборга... Нет, мой друг! я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаюсь тебе, как отцу духовному: я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврейские или арабские буквы, в цифири или египетские иероглифы, потщуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бредоумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя набродится досыта» (с. 30, «Подберезье»).

Это, конечно, прямое поддакивание Екатерине, которая не любила и опасалась масонов, которой даже в тексте Радищева привиделось следование масонству. Это своего рода самооправдание: мол, я очень простой человек с нормальными пристрастиями, а вовсе не умник какой-то!..

Даже в рассуждениях о цензуре он пытается сделать Екатерину своей союзницей, показывая, правда, бессмысленность обращения к петербургским чиновникам. В Торжке встречается он с человеком, «отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно, ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в цензуре, и вот его о том размышлении» (с. 79, «Торжок»). Далее следует рассуждение о цензуре с длинной выпиской из работы Гердера «О влиянии правительства на науки и наук на правительство» (1780), где он приводит только высказывания немецкого философа в защиту свободы печати, опуская проблемные рассуждения.

На станции «Зайцово» он встречается с ушедшим в отставку г. Крестьянкиным (уже по фамилии ясно, что *из простых*). Крестьянкину по закону не удалось освободить крестьян, колыями ухотивших до смерти своего барина за совращение девицы, а потому ехавшим домой, не справившись со службой<sup>53</sup>. Расставшись с приятелем детства, путешественник решил пройтись пешком: «Но прогулка по большой дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на гулянье в Летнем саду или вБаба, скоро она меня утомила, и я принужден был сесть» (с. 44, «Зайцово»). И тут же получает из проезжающей мимо коляски письмо из Петербурга, в котором сообщалось о браке между 78-летним бароном Дурындиным и 62-летней вдовой г-жой Ш., той, что называется сводней или бандершей, пристроившей под конец жизни свои увядшие прелести в баронский дом. Опять речь вроде бы о развратном Петербурге и знатных глупцах, его населяющих. Но вся прелесть этого письма в том, что его сюжет заимствован из пьесы Екатерины II под названием «За мухой с обухом», где под именем барона Дурындина выведен всем известный А.А. Нарышкин. Иными словами, Радищев опять как бы берет себе в союзницы императрицу.

## Появление положительного элемента

Напомню главы, о которых вскользь уже говорили. «Крестыцы», где описываются наставления отца, расстающегося с детьми, ибо «несчастной предрассудок дворянского звания велит им идти в службу» (с. 45, «Крестыцы»). Петровская табель о рангах, предписывавшая дворянам получать чины только через службу, снова вызывает у путешественника сомнение, поскольку много в службе всяких соблазнов. Затем, в главе «Яжелбицы», Радищев кается перед своими детьми в дурной болезни, которую он уморил их мать и самих сделал больными. В следующей главе — «Валдай» — описываются вполне игриво «податливые крестьянки» и развратные нравы совместных (мужских и женских) народных бань XVIII века. Наконец, в главе «Едрово», осудив растленный образ жизни высшего петербургского света, он встречается с нравственной крестьянкой Анютой, которая нравится ему и как женщина, и как воплощение здоровой крестьянской порядочности. Он даже хочет способствовать в создании приданого для Анюты.

Это ей путешественник сообщает о своей любвеобильности, говоря, правда, что он не насильник. Три обстоятельства нас здесь интересуют. 1. Он явно смиряет в себе карамазовские инстинкты сладострастия, понимая, что иначе мало будет отличаться от осуждаемого им общества. Но смирить их русский образованный человек может только идейно. 2. Впервые поэтому вводится мысль, которая прозвучала более артикулировано у Карамзина в «Бедной Лизе», что «и крестьянки любить умеют». Но именно у Радищева происходит превращение добродетельного руссоистского дикаря в русского крестьянина. 3. Ощущение, впервые его посещающее в этой главе, что крестьяне помощи от помещика не желают, даже от того, кто нарядился в овечью шкуру. Крестьяне не хотят принять денежное пособие даже от вроде бы доброго дворянина. Мать Анюты отказывается со словами: «Приданова бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то Бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают» (с. 63, «Едрово»). И далее путешествующий дворянин совершает два открытия: «Я не мог надивиться, нашедтолико благородства в образе мыслей у сельских жителей» (там же); «Приметив, что им мое присутствие было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке» (там же). Итак, он приходит к мысли, что благородства у народа не меньше, а даже больше, чем у господ, которые норовят раслупить своих подопечных; он также впервые в русской литературе фиксирует абсолютную чуждость крестьян дворянину. Ни у Карамзина, ни у Пушкина, даже у Тургенева еще такого не будет. Здесь прямой выход к «Утру помещика» Льва Толстого и его последующей проблематике о чуждости народа высшим сословиям, а значит, и государству. Тема вполне славянофильская: Земля против Государства.

Позиция Радищева в его отношении к крестьянам (дошедшая до Толстого и народников) зародилась как результат переосмысления западноевропейских идеологических мифов. Сошлюсь на рассуждение Т. Артемьевой: «Руссоистский образ “добротного дикаря” недолго царил в российской социально-политической

мысли. Европейские ассоциации, представлявшие североамериканских индейцев образцом граждан идеального социума, в котором господствует “свобода, равенство и братство”, приобрели иную форму. Российским Простодушным стал крепостной крестьянин, а “дикая европейка” превратилась в “добродетельную поселянку”, “бедную Лизу”, умилявшую не одно поколение российских читателей<sup>54</sup>. Первой добродетельной поселянкой стала, разумеется, радищевская Аня.

Вот как рекомендует ее ямщик, везущий путешественника: «Да уж и девка! Не одному тебе она нос утерла... Всем взяла... На нашем яму много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! всех за пояс заткнет, хоть бы кого... А как пойдет в поле жать... загляденье» (с. 65, «Едрово»). Отсюда так и видятся даже не бедная Лиза, а, скорее, поселянки Григоровича, Некрасова, да Льва Толстого. И характерно, что следом идет глава «Хотиллов. Проект в будущем». Как же устроить этому замечательному русскому крестьянину, у которого такие замечательные особи женского пола рождаются, сносную жизнь?

Надо сказать, любовные свои страсти выражал в ту эпоху не один Радищев, не один он «любил женщин для того, что они соответственное имеют сложение» мужской «нежности». Державин был тоже весьма любвеобилен, и о своей тяге к женскому полу и своем сложении, отвечающем его нежным чувствам, даже эротически-шуточный стишок сложил, который и доныне поется:

Если б милые девицы

Так могли летать, как птицы,

И садились на сучках, —

Я желал бы быть сучочком,

Чтобы тысячам девучкам

На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезда и свистели,

Выводили бы птенцов;

Никогда б я не сгибался,

Вечно ими любовался,

Был счастливей всех сучков.

(«Шуточное желание», 1802.)

Но никогда не приходило ему в голову сделать шаг от своей любвеобильности к воспеванию крестьянского сословия, которое воспитывает таких прелестных и вместе нравственных дочерей. Державин проехал по всей Империи, сталкивался с разными народами, воевал с Пугачевым, причем Пугачев лично охотился за Державиным, какое-то время поэт сопровождал плененного самозванца, повесил самолично нескольких бунтовавших крестьян — совсем другой опыт. Здесь ни меду, ни сахару, ни умилений не было. Он видел, что к русскому народу принадлежат башкиры, мордва, татары, черемисы, чувашаи, марийцы, калмыки (примкнувшие, кстати, к пугачевскому бунту), себя именовал внуком Мурзы, а порой и просто Мурзою. «Недостаток мой исповедую в том, — писал Державин, — что я был воспитан в то время и в тех пределах Империи, когда и куды не проникало еще в полной мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состояние, к которому принадлежу»<sup>55</sup>. Екатерину он называл «Богородицею / Киргиз-кайсацкия орды» («Фелица», 1782). Сама Екатерина именовала себя «казанской помещицей» и в письме к Вольтеру из Казани писала: «Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих друг на друга. А между тем необходимо сшить такое платье, которое оказалось бы пригодно всем <...> Я чуть не сказала: приходится целый мир создавать, объединять, сохранять»<sup>56</sup>.

Путь Радищева из Петербурга в Москву мог воину Державину показаться развлечением не видевшего жизни барича, сызмальства повелением императрицы из пажей посланного в Германию, а потом пребывавшего все больше при властных персонах. Имперского разнообразия страны, сложности ее Радищев не почувствовал, не увидел. Перед ним был только простой русский мужик, причем только тот, что находился в крепостной зависимости у помещиков.

Что же автор хочет? «Восстановление земледельца во звание гражданина. Надлежит ему судиму быть ему равными, то есть в расправах, в кои выбрать и из помещичьих крестьян. Дозволить крестьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. Дозволить невозбранное приобретение вольности, платя господину за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушья власть тигров! — вещает наш законодатель... За сим следует совершенное уничтожение рабства» (с. 73—74, «Хотилово»)<sup>57</sup>.

Замысел замечательный, только не совсем оригинальный, поскольку и Екатерина думала о путях отмены рабства. Отметим лишь фразу «разрушья власть тигров!» Путешественник бежит из жилища тигров — из Петербурга. Контекст говорит сам за себя.

О врагах положительного элемента

Уже было сказано о помещиках, насильничавших крестьянских девок, заставляющих крестьян работать на себя круглую неделю и пр. Но необходимо обобщение. К нему путешественник и переходит в главе «Вышний Волочок». И первопричиною недобра опять же выступает Петербург.

Начинается как бы во здравие: «Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкой канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными и приуговаривающимися к прохождению сквозь слюзы для дальнейшего плавания до Петербурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледельца» (с. 74, «Вышний Волочок»). Казалось бы, все замечательно! Ан нет!

«... скоро увяло мое радование. Ибо вспомню, что в России многие земледельцы не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. Удовольствие мое переменилось в равное негодование с тем, какое ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгоценные ее произведения, как-то: сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще от пота, слез и крови, их омывших при их возделании» (с. 74—75, «Вышний Волочок»). Надо сказать, что сравнение русских крепостных с чернокожими рабами Северо-Американских Штатов к XIX веку стало в ходу у либеральной и радикальной публицистики. Кстати, судя по замечанию Пушкина, оно было и во время нашего путешественника. Радищев, пишет Пушкин, пользуется «случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских невольниках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего сахара. Все это было тогдашним модным красноречием»<sup>58</sup>.

Но естественным образом сразу выступают враги страдающего крестьянина, ибо страдание не может быть, как многим кажется, без мучителя. Государство он готов пока обелить (и постоянно обеляет), но вот частновладельцы оказываются теми лютыми извергами, из-за которых и грудь автора «уязвлена страданиями человечества стала». Я не иронизирую, ибо другого страдательного элемента Радищев нам не представляет. Есть крестьяне и их враги. К врагам он и обращается с гневной проповедью пророка:

«А вы, жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных краев отечества вашего, при великолепных пиршествах, или на дружеском пиру, или наедине, когда рука ваша вознесет первой кусок хлеба, определенной на ваше насыщение, остановитесь и помyslите. Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о произведениях Америки. Не путем ли, не слезами ли и стенанием утучнились нивы, на которых оный возрос. Блаженны, если кусок хлеба, вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежавшего в житнице дворянской. На нем почтили скорбь и отчаяние; на нем знаменовалось проклятие Всевышнего, егдаво гневе своем рек: проклята земля в делах своих. Блюдитесь, да не отравлены будете вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней возлегает. Отрините ее от уст ваших; поститесь, се истинное и полезное может быть пощение» (с. 75, «Вышний Волочок»).

Здесь нескрываемый тон пророка, обращающегося к Богу и призывающего кары на

головы дворянства, если оно не покается и не откажется от пищи, которой питалось до сих пор. Тема эта стала определяющей в русской литературе, за исключением, пожалуй, Пушкина с его «Капитанской дочкой», откровенно направленной против сентиментальных вздыханий Радищева. Пожалуй, последний раз эта тема прозвучала в полуироническом стихотворении Саши Черного в 1910 году, когда, кстати, крепостного права и в помине уже не было:

Я спросил у мужичонки:

«Вам приятен этот труд?»

Мужичок ответил тонко:

«Ваша милость пожуют».

(«Пища», 1910.)

Этот пафос вины перед крестьянством подхвачен поздним Толстым, преисполненным ненависти к высшим классам за бедственное положение народа: он готов был отменить всю мировую культуру за то, что она непонятна русскому крестьянину. Тема страдающего народа претендовала стать центральной проблемой русской культуры. Вся огромная история России, вся ее сложная жизнь сводилась при таком подходе к взаимоотношениям помещиков и крепостных крестьян, в процентном отношении составлявших 37,7% населения Российской империи. Это была важная проблема, но не единственная. Не говорю уж о вынужденности крепостного права, благодаря которому Россия только и могла состояться как государство, ибо земля без крестьян (в России было много земли, куда могли уйти и уходили крестьяне) не имела ни ценности, ни смысла (С. Соловьев). А если вспомнить, то несложно увидеть, что лучшие произведения литературы были о духовных исканиях русского дворянства и русской интеллигенции.

Как решить эту проблему? Путем революционным? Но смогут ли сами дворяне освободить своих крепостных? Удачно продав свои имения с крепостными крестьянами, Герцен эмигрировал за границу издавать «Колокол». Приехавший к нему чуть позже его друг Огарев звал Русь к топору, а в конце 60-х выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!...»:

«Подымайтесь добры молодцы

На разбой — дело великое!

Мы оплатим нашим недругам

Все злодеяния, все мучения;  
 От рук наших умираючи  
 Пусть помянут годы тяжкие,  
 Как тиранили народ простой,  
 Как поборами нас грабили!  
 Будут плакать, будут сетовать  
 Жены их и дети малые;  
 Не должно для них пощады быть,  
 Надо всех их нам со света сжить  
 Города, дворцы огнем спалить...»<sup>59</sup> .

<1869>

Надо все же отдать должное Радищеву, что напрямую к разбою он не звал, но к уничтожению дворянского хозяйства все же призывал. Рассказывая о деспотическом хозяине, который тем не менее получал невероятные урожаи, путешественник не находит иного решения проблемы, как призвать к тому самому бунту, которого так опасался (или которым пугал) в начале своей книги: «Сокрушите орудия его земледелия, сожгите риги, овины, житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалось его мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя» (с. 76, «Вышний Волочок»). К убийству женщин и детей он вроде бы не стремился, но от этих его слов до огаревских призывов расстояние все же невелико.

У Герцена хватило смелости написать, что мы не ханжи и благодарны псковскому оброку, что он помог появлению Пушкина. Но и он оправдывал дворянство только тем, что оно может побудить крестьянство к революции: «... Помещик стал олицетворением несправедливой власти и, одновременно, подлинной революционной закваской. Петр I привел государство в движение, а помещик прямо или косвенно приведет бездеятельную, тяжелую на подъем общину к революции. Вне всякого сомнения, это бродильное вещество разложится в конце концов, но не раньше, чем завершится гибель абсолютизма»<sup>60</sup> .

В этом контексте видно, что Радищев в помещика, в дворянство не верил категорически. Не видя позитивного смысла в этом сословии, он, правда, не звал его уничтожать, а просто хотел лишить дворянство тех привилегий, которые оно получило в петербургский период. Радищев хотел сравнять дворян в правах с остальным народом, как то было на Московской Руси. «Проект в будущем» был продолжен в главе «Выдропуск». Главным решением большинства проблем он

увидел не подъем всех жителей России до гражданского уровня дворянства, но уничтожение всех дворянских прав, которые и существовали всего несколько десятков лет. По сути, он обращается к опыту московской Руси: «Вводя нарушенное в обществе естественное и гражданское равенство постепенно паки, предки наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянства» (с. 76, «Выдропуск»). Нельзя здесь не заметить, что дворянским правам *de jure* было всего пять лет к тому моменту: с выхода в 1785 году «Жалованной грамоты» Екатерины.

Конечно, это была идеализация простого народа, которой избежали в начале XIX века только Пушкин и Гоголь (дядя Митяй и дядя Миняй в «Мертвых душах», не говоря уж о Селифане и Петрушке). Жестокие повести Чехова «Мужики» и «В овраге», бунинская «Деревня» так и не развеяли этой легенды о страдающем народе-несмышленише, хотя Бунин в «Деревне» писал (вложив эти слова в уста самоучки из народа): «Есть ли кто лютее нашего народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошовую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар али драка скоро кончились». А чуть позже тот же герой резюмирует: «Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыскивать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ».

Но так ли это? Радищев предлагает свой выход преодоления разрыва с народом и облагораживания народа.

#### Прикосновение к народной духовности

Под конец книги появляется одна из самых грустных и страшных глав — глава «Медное». На чем же держится Российская Империя? А вот на чем — на беззащитном крепостном праве. Это было «мене, текел, упарсин» Валтасара. И Радищев, как пророк Даниил, эту загадку разгадывает: «Каждую неделю два раза вся Российская империя извещается, что Н.Н. или Б.Б. в несостоянии или не хочет платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про... или раздарено, потеряно в огне или воде, или Н.Н., или Б.Б. другими какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и другое наравне в ведомостях приемлется. — Публикуется: “Сего... дня по полуночи в 10 часов, по определению уездного суда городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г... недвижимое имение, дом, состоящий в... части, под №... и при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно”» (с. 92—93, «Медное»). Далее рассказываются истории крепостных, предвещающие аналогичные в «Горе от ума» или «Хижине дяди Тома».

Надо учесть и националистический момент радищевской критики дворянства. Он не раз говорит о составлении родословных при Екатерине, а стало быть, знал о происхождении русского дворянства. Узнаем и мы, открыв исследование 1886 года: «Если мы обратимся к “бархатной книге”, хранящейся ныне в подлиннике в



департаменте герольдии при правительствующем сенате и так названной по ее бархатному переплету, то увидим, что почти все наше древнее дворянство ведет свое начало от иноземцев, выезжавших в разное время на службу к великим князьям киевским, черниговским, тверским, рязанским, московским и новгородским»<sup>61</sup>. То есть призыв к упразднению дворянства, по сути дела, означал призыв к уничтожению чужаков. Неслучайно, чуть позднее Юрий Самарин сравнивал власть помещиков с татарским игом. Неслучайно и Михаил Бакунин именовал Российскую Империю — «кнута-германской империей», с помощью немцев поработившей русский народ<sup>62</sup>.

Уже много после Октябрьской революции один из замечательных эмигрантских мыслителей попытался увидеть в этом кошмаре некую позитивную линию: «Но, наряду с мыслью о равноправии всех подданных всероссийского Императора и всех населяющих Империю национальностей, наша старая имперская идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что, будучи для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тунгусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же преимущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет. Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровеннейшей своей мысли на этот вопрос. *Она считала себя призванной, и действительно была призвана, это племя оевропеить*. Во многих отношениях она была прямым отрицанием племенных великоросских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрицанием темного этатизма и ветхого московского терема. Для нее принадлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэтому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше неслужащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток»<sup>63</sup>.

Неудача этой попытки становится понятна из текста Радищева. Это как бы опережающее отражение. И связана эта неудача с тем, что образованное общество, перестав служить империи, приняло идеалы народной духовности. Что же за идеалы? Одной из последних глав книги является глава «Клин», очень и очень многосмысленная глава, я бы даже сказал, — ключевая. Войдем в ее сюжет:

« — Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам князь... — Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем Божиим человеком, был слепой старик, сидящий у ворот почтового двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице его зримо, заставляли взирающих на певца предстоять ему со благоговением. Неискусной хотя его напев, но нежностью изречения сопровождаемый, проникнул в сердца его слушателей, лучше природе внимлющих, нежели возвращенные во благогласии уши жителей Москвы и Петербурга внимлют кудрявому напеву Габриелли, Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления внутрь глубокого, когда клинской певец, дошед до разлуки своего ироя, едва прерывающимся ежесекундно гласом изрекал свое повествование <...> Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; со уст юности отлетела спутница ее, улыбка; на лице отрочества явилась робость, неложной знак болезненного, но неизвестного чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико привыкший, вид восприял важности <...> Я рыдал вслед за ямским собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как исторгнутые из сердца Вертером» (с. 110,

«Клин»).

Старец поет песню об Алексие человеке Божиим. Рассказ прост, да контекст не прост. Прочитую энциклопедический словарь: «Алексий (Алексей), *человек Божий*, святой, сын знатного римлянина <...> жил во время папы Иннокентия I (402—416). Долго прожив пустынником, он возвратился в родительский дом, где, не узанный и пренебрегаемый домашними, продолжал совершать добрые дела. Только незадолго до смерти он дал себя узнать. Над его найденною в 1216 могилою, на Авентинском холме, была построена церковь, носящая его имя. Древнейшая редакция его жития — сирийская (5—6 вв.), с греческого списка заимствована славянская редакция жития, вошедшая в Макарьевские Четьи-Минеи <...> В древнерусской письменности сказания об А. Божьем человеке послужили сюжетом одного из популярнейших духовных стихов»<sup>64</sup>. В русской классической литературе этот сюжет впервые является в книге Радищева. Потом мы можем его встретить в самом, пожалуй, влиятельном романе русской классики — в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Начиная со старика Карамазова, который называет свое лицо лицом «настоящего римского патриция времен упадка», и кончая образом Алеши, которого старец посылает на неведомое служение в «мир», весь роман пронизан тончайшими аллюзиями этого духовного стиха, как об этом вполне доказательно писала В. Ветловская<sup>65</sup>. Что же здесь интересно для нашего рассуждения? Итак, речь в песне идет об уроженце города Рима. Но не забудем, что по замыслу Петра Санкт Петербург, то есть город святого Петра, стал новым Римом. То есть из этого Рима бежит наш путешественник, видит беды, страдания людей, едет, никем не узанный, книгу издает без имени. И вдруг сталкивается со слепым странником, русским Гомером, который рассказывает нечто самое важное, что, оказывается, нужно и простому народу, и ему, сыну знатных родителей, богачу, дворянину. И Радищев приходит к той же простой истине, к какой приводит слушателя или читателя эта история, о чем замечательно сказал С. Аверинцев: «Семья святого (изображенная с полным сочувствием) наделяется всеми атрибутами знатности и богатства, да еще в сказочно гиперболизированном виде; но вся эта роскошь оказывается ненужной, предметом горестной улыбки сквозь слезы, — и в этом вся суть. Изобильный дом — полная чаша, почет и знатность, благополучие хотя бы и праведных богачей неистинны; и только бедный странник Алексей, терзая самых близких людей и себя самого, живя в скудости и поругании, тем самым живет в истине, в стихии истины»<sup>66</sup>.

Песнь, пришедшая на Русь из Византии, хранимая русским народом, сокрыта от петровских преобразований московской Русью. Пожалуй, единственным из исследователей, заметившим это, был С. Аверинцев: «В лице Радищева культура сентиментализма открывает для себя сбереженную тысячелетней народной традицией “слезность” ранневизантийской легенды»<sup>67</sup>. Плода петровского образования — дворянства — московская традиция принимать не желает, не желает и помощи от него. Более того, она против богатства, как установления нового века (эпизод с рублевином), лучше натуральное что-то — пирог, например. «Я не хотел отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного небу старца. Желал его благословения на совершение пути и желания моего. Казалось мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблагословение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет терние сомнительности. Подошел к нему, я в дрожащую его руку толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновенного своего благословения

подающему, отвлечен от того необыкновенностью ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое сердце. — Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям соблезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою гордость. Он не сопровождает его своим благословением. — О! коликомал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и краюшку хлеба певшему старцу!» (с. 115, «Клин») <sup>68</sup>.

Итак, Москва!

О чем и говорить дальше! «Но, любезный читатель, я с тобою закалялся... Вот уже Всесвятское... Если я тебе не наскучил, то подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. Теперь прости. — Ямщик погоняй» (с. 123, «Черная грязь»). Поэтому и заканчивает свою книгу двойным восклицанием: «МОСКВА! МОСКВА!!!» Причем слова даны прописными буквами и с тремя восклицательными знаками.

Дворянству, рожденному петровской реформой, нет благословения от византийско-московской культуры. Благословение нужно всем, но Радищев заканчивает свою книгу этим осуждением новой культуры — голосом старомосковского жителя, голосом калики перехожего, странника, как сам Алексей человек Божий. Странник, путешественник и сам Радищев. И сердце его рвется в Москву, ту Москву, которая еще при Иване Грозном не знала крепостного права, а дворянство было в суровой узде русского царя. Поневоле вспомнишь славянофильское понимание Москвы: «Москве предстоит подвиг завоевать путем мысли и сознания утраченное жизнью и возродить русскую народность в обществе, оторванном от народа. Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одною жизнью, одним биением сердца, — и этими словами само собою определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу» <sup>69</sup>.

Интонация путешественника говорит о счастливом завершении пути, об итоге, к которому надо стремиться. Ответом были слова Пушкина: «Москва! Москва!... — восклицает Радищев на последней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уже Всесвятское... Он прощается с утомленным читателем; он просит своего спутника подождать его у околицы; на возвратном пути он примется опять за свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания... Теперь ему некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! Москва!...» <sup>70</sup> Тема Москвы и Петербурга была слишком символичной для русской культуры, чтобы отнестись к этим акцентам как к чему-то случайному. Один из крупнейших нынешних отечественных специалистов по проблемам Российской Империи как-то заметил: «Москва как современное “сердце”, воплощение русскости, как центр “собирания” русских земель безусловно присутствовала в русском националистическом дискурсе. В традиционалистской версии русского национализма именно Московская Русь противопоставлялась

петербургской России»<sup>71</sup>. Радищев просто артикулировал эту тему, как никто до него. Но, скажем, Пугачев мечтал взять Москву...

И все же помимо Пугачева есть еще Святая Русь, и она тоже в Москве!!! Сошлюсь на современного православного фундаменталиста: «Решительное духовно-онтологическое отличие Санкт-Петербурга от Киева и Москвы — и вместе с тем Руси серебряной от Руси золотой — заключается в его *двойственности*. С одной стороны, это все та же Святая Русь, с другой — это Русь, взглянувшая на себя безбожными (секулярными, европейскими) глазами. “Западниками” были и отец Петра I, и Борис Годунов, и в некоторых отношениях сам Иоанн Грозный. То, что сделал Петр, в немногих словах можно определить как отказ от Православной симфонии — от того древнего идеала единства и согласия духовной и светской власти, который возник в Византии при Константине и затем служил внутренним основанием (оправданием) Киевской и Московской держав»<sup>72</sup>. Но именно о Святой Руси — носительнице правды — в начале XX века писал П. Струве как о великой своей надежде:

«Кроме Великой России есть *Святая Русь*.

Если в Великой России для нас выражается факт и идея русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею русской правды»<sup>73</sup>.

Но можно ведь представить ситуацию, что Святая Русь внутренне против Великой России, против Империи. Такую ситуацию и представил Радищев. Однако мы привычно, с советских времен, полагаем, что были демократы — западники, то есть революционеры и радикалы, а также были другие демократы — славянофилы, они же охранители. Однако термин «революционный славянофил» был все же предложен после Октябрьской революции, во всяком случае именно эта тема звучала в текстах С. Франка, С. Булгакова, А. С. Изгоева. Приведу пока лишь один пример. *Беженец* у С. Булгакова в его знаменитом тексте «На пиру богов» говорит: «...Русская интеллигенция, как духовная виновница большевизма, есть действительно передовой отряд мирового мятежа, как об этом и мечталось революционным славянофилам от Бакунина до Ленина, при всем их интернационализме программном»<sup>74</sup>. Не в этом ли ряду можно обозначить и Радищева?

Не получается ли, что радость путешественника от встречи с Москвой означает именно антиимперский пафос? Быть может, неслучайно воспевание им основателя Московского университета, в связи с которым автор вспоминает американца Б. Франклина, сокрушителя Британской империи: «*Се исторгнувший гром с небеси и скиптр из руки царей*» (с. 115—123, «Черная грязь», «Слово о Ломоносове»). А Империи у него уже в эпиграфе к книге дано определение, которое словно вводит нас в ад петербургской истории: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя». В комментариях указывается обычно, что эпиграф (слегка измененный) взят из эпической поэмы В. Тредьяковского «Тилемахида», где герой спускается в ад. Там он видит, как царям в зеркале Истины показывают их сущность — страшную, в образе чудовища, которое «обло (тучно), озорно, огромно, с тризевной и лайя». Так и сам Радищев как бы тоже спустился в ад Российской Империи. И поведал словами путешественника о том ужасе, который увидел. Следует сказать, что декабристы, о славянофильст-

ве которых писалось уже не раз<sup>75</sup>, точно так же, как и Радищев, воспринимали Петербург. Напомню строчки К. Рылеева:

Едва заставу Петрограда  
Певец унылый миновал,  
Как разлилась в душе отрада,  
И я дышать свободней стал,  
Как будто вырвался из ада...

(«Давно мне сердце говорило...», 20 июня 1821.)

Но Радищев еще нашел и то, что должно уничтожить этот ад, то лекарство, к которому потом многожды прибегали русские писатели. Вернуться в Москву, вернуться идеологически и, что самое интересное, тем самым как бы искупить свою дворянскую вину. Вот его решение. Как мы знаем, такой возврат был осуществлен, но народу сладко от этого не стало. Бывший «веховец» А. Изгоев писал: «История вообще не скупа на шутки. Если социалистам она поднесла подарок в виде ленинского коммунистического государства, то и славянофилов она не обидела, дав им из рук того же Ленина и возвращение в “первопрестольную”, и торжество древнего исконно русского земско-соборного начала над гнилым западноевропейским конституционным парламентаризмом»<sup>76</sup>. Но ГУЛАГ оказался страшнее крепостного права.

Правда, Радищев даже подозревать такое не мог. Тем более — прозревать!.. Вообще, удивительно, что пророчества его, его обвинения, были пророчествами в буквальном смысле слова — проклятия с высшей точки зрения государственного и народного устройства, но никогда не было угадок общественного развития. Он грозил народным бунтом, но не видел гибели империи, как увидел ее юный (16-летний) Лермонтов:

Настанет год, России черный год,  
Когда царей корона упадет;  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон...

(«Предсказание», 1830.)

Но «странная любовь» Лермонтова к Отчизне, когда не принимается ее величие, а предпочтение отдается простому мужицкому быту, похожа на отношение «путешественника». Все же Радищев русскую мысль взбудоражил...

Кто же прав?

Вопрос, на первый взгляд, нелепый, когда говоришь о столкновении писателя и власти. Но дело-то в том, что за власть, которая состязается с писателем. Да и состязается ли она? Власть, насаждающая просвещение и закон, — это та ситуация, которая должна была заставить задуматься человека мыслящего. У Лермонтова, если мы внимательно прочтем его строки, *чернь низвергает закон*, который, стало быть, в имперской России все же имелся.

Сам Радищев в 1801 году в оде «Осмнадцатое столетие» вполне разделял эти мысли о благотворности созданного Петром и Екатериной и, кажется, не лукавил, ибо, похоже, принял свой возврат в Петербург как царское благодеяние:

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро.

Будешь проклято во век, в век удивление всем.

.....

Ах, омочено в крови, ты нисподаешво гроб:

Но зря, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:

Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Мрачные тени создаи, впреди их солнце;

Блеск лучезарный его твердой скалой отражен.

.....

Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,

Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был Росс.

Петр и ты, Екатерина! Дух ваш живет еще с нами.

Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.

Гений хранитель всегда Александр будь у нас...

Конечно, трагизмом Лермонтова здесь стих даже отдаленно не дышит. Здесь виден только упрек французской робеспьераде. Что же инкриминировал он в свое время императорской власти, если отвлечься от сентиментальных размышлений и от противопоставления Москвы как идеально-сакрального места Петербургу как «жилищу тигров»?

Здесь уместно вспомнить классическую оппозицию, артикулированную французскими просветителями, — оппозицию «просвещенного монарха» и «восточного деспота». Разумеется, восходит это противопоставление еще к Античности, но в XVIII веке оно было очень в ходу. Обратимся к тому месту в главе «Спасскаяполость», на которое часто ссылались в советское время.

Речь в ней идет о том, как подхалимы и льстецы кадят властителю, говоря о его заслугах на земле и море, о его мудрости и щедрости, тот им радостно внимает, но на глазах его бельмы, и он не видит истины. В облике странницы является к нему сама Истина, просветляет его, и он видит обман льстецов, нищету бедных и злодеяния богатых. В конце главы остается, однако, вопрос, стоит ли «странница» у чертогов властителя или отлетела от него. Обычно это воспринимается как критика правления Екатерины, хотя современные комментаторы склонны скорее подтвердить похвалы придворных. Приведем один лишь пример. На слова льстецов, что властитель обогатил государство, расширил внутреннюю и внешнюю торговлю, сегодняшний комментарий сообщает: «К 1762 г. в стране было 984 мануфактуры, к 1796 г. — 3161. Быстрыми темпами развивалась внутренняя торговля. Обороты внешней торговли составляли в 1763—1765 гг. 12 млн руб. по вывозу и 9,3 млн руб. — по ввозу, в 1781—1785 гг. соответственно 23,7 и 17,9 млн руб., в 1796 г. — 67,7 и 41,9 млн руб. Всего за время царствования Екатерины положительный баланс составил 103 млн руб. серебром»<sup>77</sup>.

Совершенно другое — Радищев. На самом деле, он не думает о национальном и народном богатстве. Он весь полон жажды простоты нравов, которая когда-то была, полагает он, как Руссо, свойственна простым русским людям, вроде слепца, поющего об Алексие, человеке Божьем. Это внеисторическое мышление, смешно сказать, опять ведет его в татарское и московское прошлое (переходящее в советский социализм), когда он выступает против торговли, против частной собственности, только лишь впервые введенной в России при Екатерине. Ведь частной собственности Россия лишилась в результате татарского нашествия, когда ханы по монгольскому праву объявили всю землю собственностью хана. Этот принцип ассимилировала московская Русь, признававшая поместья лишь жалованьем, но не частным владением. А Радищев возмущен: «...возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив первобытную свою простоту и природное свое упражнение — земледелие, человек

предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад и зной пустынный, претекал чрез оные в неведомые страны для снискания богатств и сокровищ» (с. 117, «Черная грязь. «Слово о Ломоносове»»).

Любопытно, что радищевский герой, воображая себя во сне властителем, ни разу не называет себя императором или просвещенным монархом, склоняясь больше к восточным наименованиям: «Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, султан или какое-то сих названий нечто, сидящее во власти на престоле» (с. 22, «Спасская полость»). Иными словами, властитель у него больше похож на восточного деспота, который не ведает, что творится у него в государстве. Онобладает властью, но не знанием.

Надо сказать, что видеть в русском императоре не императора как носителя наднациональных интересов и законов, но восточного деспота свойственно было не одному Радищеву. Подобная путаница характерна для русских свободомыслящих деятелей. Эта проблема — деспот или просвещенный монарх — объяснялась тем, что русские цари наследовали сразу двум предшественникам: византийскому базилевсу и монгольскому хану. Православные, как византийцы, территориально московские князья наследовали огромные территории именно монгольского улуса. Титул «царь» поначалу русские люди относили как к византийскому императору, так и татарскому хану. Поэтому московский царь оказался наследником двух восточных государственных структур<sup>78</sup>. Приняв императорский титул, Петр тем самым семиотически обозначил поворот России к Европе. Соответственно, возможность поведенческой вариативности всегда присутствовала у русских царей и императоров. Кавелин назвал Николая Первого «калмыцким полубогом», подчеркивая его монгольские черты в поведении. Пушкин, впоследствии писавший об Александре I, прощая ему «неправые гоненья» за то, что «он взял Париж, он основал Лицей», в молодости был по отношению к императору весьма резок:

Ура! в Россию скачет

Кочующий деспут.

Спаситель горько плачет,

За ним и весь народ.

(«Сказки.Нолл», 1818.)

Именно эта проблема перед Радищевым. Что перед ним? Чудище стозебно, то есть восточная деспотия? Или европейски ориентированная империя? Казалось бы, он нарочно провел свой опыт, чтобы прояснить это, прояснить, насколько справедливы слова Гельвеция: «Утверждающийся у власти деспотизм еще позволяет все говорить, лишь бы ему было позволено все делать. Укрепившийся у власти деспотизм уже запрещает свободно говорить, думать, писать»<sup>79</sup>. В записях Храповицкого есть свидетельство об окончательной реакции Екатерины, которая



отнюдь не считала себя деспотом, на книгу: «11 — Шведская ратификация привезена в Царское Село вскоре после обеда. — Доклад о Радищеве; с приметною чувствительностию приказано рассмотреть в Совете, чтоб не быть пристрастною и объявить, “дабы не уважали до меня касающееся, понеже я презираю”»<sup>80</sup>.

Интересно, что в западной литературе в «Путешествии» по-прежнему видят прежде всего политический трактат: «В русской политической культуре, где свободный обмен мнений, типичный для гражданского дискурса и философских дебатов, отсутствовал, и где монарх мог предписывать закон и мораль, художественный вымысел, который вопрошал принятые обществом ценности и противодействовал идее абсолюта относительностью точек зрения, был событием, способным расшатать и заставить монарха сомневаться в своей устойчивости»<sup>81</sup>. Екатерина доказала возможность подобного дискурса.

Радищев, попав в крепость, был напуган, хотя никаких к нему физических воздействий не применялось. Во всяком случае, именно с него можно вести отсчет покаянных писем русских писателей, попавших в немилость к власти. Никогда протопоп Аввакум не написал бы слов наподобие радищевских: «Не в оправдание моего мерзительного сочинения я сказать что-либо намерен; ибо убежденный теперь сам в себе, сколь оно гнусно, я бы сам мог написать на оное опровержение, еслибы разум не был в расстройке и сердце не болело. Но я желаю показать шествие моих мыслей, и как разум, цепляясь из заблуждения в заблуждение, дошел, наконец, в сию путаницу, которая ввергла меня в погибель»<sup>82</sup>. Конечно, не на разум просветителей он опирался, поэтому так легко этот разум предает. Заметим, что именно забвение разума ставила в вину Радищеву Екатерина: «Сочинитель говорит: вопросите ваше сердце; оно есть благо. Что вещает оно, то и творите, а разсудку следовать не велить. Сие предположение не весьма верно быть может»<sup>83</sup>. Именно императрица заступилась за достоинство разума. Более того, она приказала снять с отправленного ею в Илимск ссыльного «железа», ехал он на место своего поселения один год и четыре месяца, к его приезду для него был уже отстроен жилой дом. К нему разрешили приехать его свояченице, которая стала там его невенчанной женой, родила ему детей и тоже умерла, как и ее сестра.

Можно сказать, что имперское просвещение, попытка разбудить мысль в стране, где мысль всегда была наказуема, имперская толерантность — все это увенчалось успехом. По справедливому, на мой взгляд, замечанию М. Геллера, «к 1790 г. Российская империя была приведена в порядок екатерининскими реформами. В конечном счете Александр Радищев был одним из плодов реформ...»<sup>84</sup>. Каким бы парадоксом это ни прозвучало, но Империя сама создавала и лелеяла своих врагов, делая из них граждан. Судьба Радищева и в самом деле — лучший тому пример. Только потому, что он был помилован императрицей, он смог ощутить себя снова достойным человеком, написав по дороге в Илимск (в Тобольске, где он жил с января по июль 1791 года) знаменитые строчки:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —

Я то же, что и был, и буду весь мой век:

Не скот, не дерево, не раб, но человек!  
 Дорогу проложить, где не бывало следу,  
 Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,  
 Чувствительным сердцам и истине я в страх  
 В острог Илимский еду.

Следом поехали декабристы, тоже не весьма хорошо державшиеся на следствии. Но и они в сознании общества стали выразителями гражданской свободы. Империя тем самым создавала тот вариант гражданского общества, который только и мыслим был в этой стране. Однако чуть позже такие люди появились в реальности. Чернышевский уже был достойным соперником императору. Но вот найти контакт с разбуженными ею же началами гражданского общества Империя не смогла. Она стала искать иное решение вопроса бытия России — стала искать национального царства вместо Петербургской Российской Империи. Славянофильский пафос Александра III и Николая II очевиден. Поэтому «при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действительности извращала самую идею монархии, а также идею Всероссийской Империи <...> Этот-то отказ от старой петербургской программы, т.е. в сущности, отказ от Империи, революционизировал Россию не в меньшей степени, чем бомба Желябова и “иллюминации” 1905 года»<sup>85</sup>. Попытавшись защититься от европейской свободы московским национализмом, она пошла путем, предложенным Радищевым, — из Петербурга в Москву. На этом пути она и потерпела крах. А Радищев и впрямь оказался пророком Даниилом, этот крах угадавшим.

Работа подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда (грант № 06-03-00052а).

<sup>1</sup> Это не замечается, и характерно, что В. Топоров не включил книгу Радищева в свой «петербургский текст». «Начало Петербургскому тексту было положено на рубеже 20—30-х годов XIX в. Пушкиным...» (*Топоров В.Н.* Петербург и «Петербургский текст русской литературы». Введение в тему // *Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс-Культура, 1995. С. 275).

<sup>2</sup> *Чхартушвили Григорий.* Писатель и самоубийство. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 205.

<sup>3</sup> *Billington James H.* The Icon and the Axe. An Interpretive History of Russian Culture. New York: Vintage Books, 1970. P. 355.

<sup>4</sup> *Герцен А.И.* Император Александр I и В.Н. Каразин // *Герцен А.И.* Собр. соч. в 30 тт. Т. XVI. М.: Изд. АН СССР, 1959. С. 65.

<sup>5</sup> «Отче всеблагий, неужели отворишь взоры свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно. Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю, на земли она стала уже бесполезна» (*Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность / Издание подготовил В.А. Западов. СПб.: Наука, 1992. С. 9. В дальнейшем все ссылки на это издание даются в тексте).

<sup>6</sup> *Лотман Ю.М.* Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в Москву» // *Лотман Ю.М.* О русской литературе. СПб.: Искусство—СПБ. 1997. С. 251.

<sup>7</sup> *Немировский И.В.* Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб.: Гиперион, 2003. С. 310—311.

<sup>8</sup> *Герцен А.И.* <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева...> // *Герцен А.И.* Указ. изд. Т. XIII. С. 272.

<sup>9</sup> Там же. С. 277. Столь же опрометчиво было и Щербатова отнести к ревнителям старины. Как справедливо пишет современная исследовательница: «Казалось бы, рассуждения Щербатова предельно просты и сводятся к критике “нового” и сожалению о “минувшем”. Так их понимал, например, А.И. Герцен, выстроивший в своем “Предисловии” простейший силлогизм, доказывающий “предславянофильство” Щербатова. На самом деле, если нравы “повредились”, то до какого-то момента они пребывали в целостности, а раз “повреждаться” они начали после Петра, следовательно, Щербатов выступает против петровских, а равно и против всяких других преобразований. По мнению Герцена, “скучный и полудиккий быт наших предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом”, а “чинная и чванная Русь” — его духовным ориентиром. Однако нужно совсем не знать Щербатова, чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуждал отдельные петровские начинания, однако был искренне убежден, что “в рассуждении просвещения и славы” Россия в годы его правления продвинулась далеко вперед» (*Артемьева Т.В.* От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 272—273).

<sup>10</sup> В своих показаниях Тайной экспедиции Радищев писал: «... Между другими коммерческими книгами купил я историю о Индиях Реналея. Сию то книгу могу я почитать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 1780, или 81 году. Слог его мне понравился. Я высокопарной (amroulй) его штиль почитал <...> истинным вкусом, и видя ее общечитаемою, я захотел подражать его слогу <...> И так могу сказать по истине, что слог Реналея, водя меня из путаницы в путаницу, довел до совершения моей безумной книги, которая готова была в исходе 1788 года» (*Бабкин Д.С.* Процесс Радищева. М.—Л.: Изд. АН СССР, 1952. С. 188—189).

<sup>11</sup> *Герцен А.И.* <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева...>. Т. XIII. С. 277.

<sup>12</sup> Надо сказать, Герцен не оценил точности пушкинского понимания, может быть, по собственной ненависти к Петербургу. Он писал, что Пушкин находит сравнение Екатериной Радищева с Франклином «глубоко знаменательным — нам оно кажется чрезвычайно глупым» (*Герцен А.И.* <Предисловие к «Путешествию из С.-Петербурга в Москву» А. Радищева> // *Герцен А.И.* Указ.изд. Т. XIII. С. 279).

<sup>13</sup> *Пушкин А.С.* Александр Радищев // *Пушкин А.С.* Собр. соч. в 10 тт. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 214.

<sup>14</sup> «Русская интеллигенция с конца XVIII в., с Радищева, задыхалась в самодержавной государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь XIX в. интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный, безвластный идеал, создает крайние формы анархической идеологии» (*Бердяев Н.А.* Русская идея // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С. 170).

<sup>15</sup> *Пушкин А.С.* О ничтожестве литературы русской // *Пушкин А.С.* Указ.изд. Т. 6. С. 409.

<sup>16</sup> *Эйдельман Н.Я.* Путешествие с Радищевым // *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. М.: Книга, 1990. С. 14.

<sup>17</sup> *Радищев А.Н.* Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего // *Радищев А.Н.* Избранные философские сочинения. М.: Госполитиздат, 1949. С. 204.

<sup>18</sup> Любопытно, однако, как сильна сила традиционного восприятия. Даже серьезные современные историки воспринимают Радищева не иначе как революционера. Можно взять практически любую книгу об этой эпохе, чтобы увидеть следование традиционному прочтению Радищева.

<sup>19</sup> Назвав свою газету «Колокол», Герцен и Огарев, очевидно, понимали, что может воспоследовать из их проповеди.

<sup>20</sup> Не могу не перечислить имена этих замечательных людей: Т.В. Артемьева, Е.И. Красикова, М.И. Микешин.

<sup>21</sup> Любопытства ради сравним эти слова с вполне реалистической записью латиноамериканского путешественника, борца за независимость Венесуэлы, французского революционного генерала Франсиско де Миранда, в те же годы, что и Радищев, побывавшего в этих местах: «...На четверке лошадей проскакали еще 33 версты до города Вышний Волочок, известного каналом, соединяющим Тверцу и Мсту, две небольшие речки, первая из которых впадает в Волгу, а вторая в Ладожское озеро, и так образуется водный путь, связывающий Каспийское море с Балтийским <...> Коней прислали за мною на берег канала, к шлюзам, рядом с

которыми проходит дорога. Я не спеша осмотрел шлюзы, весьма искусно построенные, и сам канал, поддерживаемый в исправном состоянии. Длиною он будет с версту или чуть поболее <...> Сам город имеет приятный вид, хотя дома здесь деревянные; благотворное воздействие торговли и ремесла весьма заметно» (*Миранда Франсиско де*. Путешествие по Российской Империи / Пер. с исп. М.: МАИК «Наука / Интерпериодика», 2001. С. 214—215). Ему нравится Русская Империя...

<sup>22</sup> *Карякин Ю.Ф. и Плимак Е.Г.* Запретная мысль обретает свободу. 175 лет борьбы вокруг идейного наследия Радищева. М.: Наука, 1966. С. 138.

<sup>23</sup> *Boden Dieter.* Deutsche Bezüge im Werk Nikolaj Novikovs und Aleksandr Radiscevs // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung / hrsgb. von Dagmar Herrmann. — Wilhelm Fink Verlag, München, 1992. S. 460.

<sup>24</sup> *Карякин Ю.Ф. и Плимак Е.Г.* Указ. соч. С. 285—286.

<sup>25</sup> *Никитенко А.В.* Дневник в 3 тт. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.

<sup>26</sup> Показания А.Н. Радищева // *Бабкин Д.С.* Процесс Радищева. С. 171.

<sup>27</sup> *Пайнс Ричард.* Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 337.

<sup>28</sup> *Кукушкина Е.Д.* Библейские мотивы у Радищева (доклад прочитан на конференции «Философия как судьба: А.Н. Радищев. К 250-летию со дня рождения». СПб., 20—21 августа 1999 года).

<sup>29</sup> *Герцен А.И.* <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева...>. С. 273.

<sup>30</sup> Правда, русские националисты начала XX века увидели в этом предсказании еврейского пророка ту мысль, что вавилонское государство погибло от разнонародности, мешавшей крепости его состава: «Я советовал бы патриотам русским повнимательнее вчитаться в пророчество Даниила (гл. 2). Исполин, символизировавший великое царство Вавилонское, был потому разбит камнем, оторвавшимся от горы, что составлен был из разнородных материалов. Золотая голова, серебряная грудь, медное чрево, железные голени, глиняные ноги: “все вместе раздробилось... и сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них”. Такова судьба всех *пестрых* царств. “Как персты ног были частью из железа, частью из глины, так и царство, — говорил Даниил, — частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, — это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим” <...> Вот великое пророчество для всех народов, имевших гибельную ошибку свое однородное подменить разнородным, свое родное — инородным!» — писал в 1908 году публицист газеты «Новое время» (*Меньшиков М.О.* Пророчество Даниила // *Меньшиков М.О.* Письма к русской нации. М.: Изд. журнала «Москва», 2005. С. 72—73). То есть в том, в чем имперские поэты Державин, Пушкин и Тютчев видели силу Российской Империи — в обилии

населяющих ее народов, — националистические публицисты начала прошлого века увидели причину краха. Но примерно то же самое предсказывает и Радищев.

<sup>31</sup> *Бабкин Д.С.* Указ.соч. С. 170.

<sup>32</sup> *Державин Г.Р.* Записки. 1743—1812. Полный текст. М.: Мысль, 2000. С. 307.

<sup>33</sup> Там же. С. 306.

<sup>34</sup> *Артемьева Т.В.* От славного прошлого к светлому будущему. Философия истории и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 158.

<sup>35</sup> Замечания Екатерины II на книгу А.Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 1790 г. // *Бабкин А.С.* Указ.изд. С. 161.

<sup>36</sup> *Пушкин А.С.* Александр Радищев. С. 213.

<sup>37</sup> *Императрица Екатерина II.* Мысли из Особой тетради // *Императрица Екатерина II.* О величии России. М.: Эксмо, 2003. С. 64.

<sup>38</sup> Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXIII. [СПб.], 1830. С. 168.

<sup>39</sup> *Гельвеций.* О человеке // *Гельвеций.* Соч. в 2 тт. Т. 2. М.: Мысль, 1974. С. 270.

<sup>40</sup> *Монтескье Ш.* О духе законов // *Монтескье Ш.* Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. С. 210.

<sup>41</sup> *Сегюр Л.-Ф.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Россия XVIII в. глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 328.

<sup>42</sup> Сам он это прекрасно понимал, понимал связь пьянства и бунта, об этом прямо во второй главке: «Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захочет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по нем, то скоро начинает спор или битву. Бурлак, идущий в кабак повеся голову и возвращающийся обгаренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гадательное в истории российской» (с. 8, «София»). Тут невольно вспомнишь «пьяных мужиков с дубьем», в которых видел Чернышевский силу народного бунта.

<sup>43</sup> *Бабкин Д.С.* Процесс Радищева. С. 169.

<sup>44</sup> *Лотман Ю.М.* Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // *Лотман Ю.М.* О русской литературе. С. 245.

<sup>45</sup> *Гельвеций.* О человеке. С. 284.

<sup>46</sup> *Лотман Ю.М.* Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву». С. 245.

<sup>47</sup> Вообще, точка зрения на Азию как носительницу рабского начала была характерна для просветителей. Здесь у Радищева прямая отсылка к Монтескье, любимому философу Екатерины. Даже героизм, оказывается, согласно французскому философу может быть свойством не только свободных, но и рабов: «...В Азии царит дух рабства, который никогда ее не покидал; во всей истории этой страны невозможно найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть только героизм рабства» (*Монтескье III. О духе законов.* С. 392).

<sup>48</sup> Это и была роковая проблема бытия империи, которую чувствовали не только демократы и народники, но и люди крайне националистических взглядов: «К глубокому несчастью, наше правительство со времен Екатерины начало терять государственный разум. Александр I, которого трон народ русский отстоял от четырнадцати народов, — поставил покоренные племена в привилегированное положение. В то время, как коренные русские люди томились в крепостной неволе, полякам и финно-шведам была дана конституция» (*Меньшиков М.О. Великорусская партия // Нация и империя в русской мысли начала XX века / Составление, вступ. статья и примеч. С.М. Сергеева. М.: Издательская группа «Скимен», Издательский Дом «Пренса», 2004. С. 23*). Именно об этом вопрос Радищева: «Можно ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?» (с. 68, «Хотиллов»).

<sup>49</sup> *Императрица Екатерина II.* Мысли из Особой тетради // *Императрица Екатерина II. О величии России.* С. 61.

<sup>50</sup> *Радищев А.Н.* Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего. С. 204.

<sup>51</sup> *Сегюр Л.-Ф.* Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. С. 327.

<sup>52</sup> Интересно отметить, что недостатки, недостроенность Петербурга видела и Екатерина, не скрывала это, но старалась по мере сил это место цивилизовать. В письме к Вольтеру 1767 года она пишет: «...Со своей стороны, я сделаю все, что будет только в моей власти, чтобы доставить Петербургу возможность дышать лучшим воздухом. Вот уже три года как заняты там осушением окружающих его болот посредством каналов — срубкою сосновых лесов, густо покрывающих его каждую часть, и уже в настоящее время существуют три большие участка земли, населенные колонистами, там, где в былое время ни один человек не мог ступить ногой, не оказавшись по пояс в воде; прошлой осенью жители засеяли эти поля впервые рожью» (*Императрица Екатерина II. Избранные письма // Императрица Екатерина II. О величии России.* С. 747).

<sup>53</sup> Видно, что Радищев его оправдывает. Но стоит привести послужной список современника Радищева, поэта Державина, начинавшего свою службу тоже *простым* — солдатом — и не без гордости писавшего о себе: «...Начав с самагорядоваго солдата, более <...> 40 лет преходил службу, исполняя на самом деле все возлагаемыя на меня даже простонародныя должности; дошел до самых

вышних государственных чинов без происков, без подпор, без родства и покровительства, иногда вопреки сильных людей, а особливо сначала, по небогатому моему состоянию почти и без способов к содержанию. По твердости ли нрава, по правоте ли сердца, или по чему другому шел всегда к единой и той же цели, чтоб служить отечеству и государю» (*Державин Г.Р.* Разсуждение о достоинстве государственного человека // *Державин Г.Р.* Избранная проза. М.: Советская Россия, 1984. С. 20).

<sup>55</sup> *Державин Г.Р.* Разсуждение о достоинстве государственного человека. С. 17.

<sup>56</sup> *Императрица Екатерина II.* Избранные письма // *Императрица Екатерина II.* О величии России. С. 748—749.

<sup>57</sup> Струве писал: «Напомним, что и для Радищева крестьянский вопрос сводился в первую очередь к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской собственности на землю, за которую они уплачивали подушную подать. Таким образом ему предносилось постепенное осуществление реформы» (*Струве П.Б.* Исторический смысл русской революции и национальные задачи // *Вехи.* Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 464).

<sup>58</sup> *Пушкин А.С.* Путешествие из Москвы в Петербург // *Пушкин А.С.* Указ.изд. Т. 6. С. 393.

<sup>59</sup> Цит. по: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная публикация / Под ред. Е.Л. Рудницкой. М.: Археографический центр, 1997. С. 250.

<sup>60</sup> *Герцен А.И.* О развитии революционных идей в России // *Герцен А.И.* Указ.изд. Т. VII. С. 168.

<sup>61</sup> *Карнович Е.П.* Родовые прозвания и титулы в России. М.: БИМПА, 1991 (репринт издания А.С. Суворина.СПб., 1886). С. 235.

<sup>62</sup> Хотел бы добавить сюда соображения пореволюционного эмигранта: «Русская правда начала путаться тогда, когда в нее влилось слишком много чужеземного элемента. Так много, что даже потрясающая способность русского народа ассимилировать все, что стоит по пути, уже не смогла справиться с этим наплывом. Так, именно период балтийского владычества императриц — он-то и свернул Россию с ее исторической правды, оторвал монархию от народа, создал бироновщину, а от нее — аракчеевщину, и, что самое главное, именно этот период **нерусского** влияния внес к нам западноевропейское крепостное право. То есть заменил чисто русский принцип общего служения государству “юридическим” принципом частной собственности на тех людей, которые строили и защищали Империю Российскую» (*Солоневич И.Л.* Белая Империя. М.: Москва, 1997. С. 95). Прямой парафраз идей Радищева...

<sup>63</sup> *Мейер Георгий.* Славянофильство и революция // *Посев.* 2005. № 12. С. 13.



<sup>64</sup> Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Большая Российская энциклопедия, 1993. С. 56.

<sup>65</sup> *Ветловская В.Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 168—176.

<sup>66</sup> *Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 87.

<sup>67</sup> Там же. С. 276.

<sup>68</sup> Более того, он и дальше работал с похожими текстами. Напомню уже цитированное место из исследования Т. Артемьевой, что, сидя в 1790 году в тюрьме, Радищев начинает писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой преставился в 792 году, практически ровно за тысячу лет до ареста Радищева. Возможно, как полагает исследовательница, это житие — персонализация и определенная идентификация жизни самого Радищева (*Артемьева Т.В.* Указ.соч. С. 158).

<sup>69</sup> *Аксаков И.С.* Доктрина и органическая жизнь // *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 171.

<sup>70</sup> *Пушкин А.С.* Путешествие из Москвы в Петербург. С. 381.

<sup>71</sup> *Миллер Алексей.* Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на полях одной статьи А.Н. Пыпина // *Российская империя в сравнительной перспективе.* Сборник статей. М.: Новое издательство, 2004. С. 273.

<sup>72</sup> *Казин А.Л.* Последнее царство (Русская православная цивилизация). СПб.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1998. С. 36.

<sup>73</sup> *Струве П.Б.* Великая Россия и святая Русь // *Нация и империя в русской мысли начала XX века.* С. 234.

<sup>74</sup> *Булгаков С.Н.* Соч. в 2 тт. Т. 2. М.: Правда, 1993. С. 606.

<sup>75</sup> «Стоит отметить, что у декабристов мы находим первые следы панславизма и славянофильства. Одно из тайных обществ называлось “Общество соединенных славян”, а Рылеев был первым, кто воспел “славянских дев”» (*Койре Александр.* Философия и национальная проблема в России начала XIX века / Перевод с французского А.М. Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. С. 36).

<sup>76</sup> *Изгоев А.С.* Пять лет в Советской России // *Жизнь в ленинской России.* London: OverseasPublicationsInterchangeLtd, 1991. С. 50.

<sup>77</sup> *Радищев А.Н.* Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. Примечания. С. 648—649.

<sup>78</sup> См. об этом: *Успенский Б.А.* Царь и император: Помазание на царство и семантика монарших титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 34—52.

<sup>79</sup> *Гельвеций.* О человеке. С. 289.

<sup>80</sup> Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря Императрицы Екатерины Второй. М.: В/О Союз театр, СТД СССР, 1990. С. 229.

<sup>81</sup> *Kahn, Andrew.* Self and Sensibility in Radishchev's *Journey from St. Petersburg to Moscow*: Dialogism, Relativism, and the Moral Spectator // *Self and Story in Russian History* / Laura Engelstein and Stephanie Sandler, editors. Cornell University Press. USA, 2000. P. 304.

<sup>82</sup> *Бабкин Д.С.* Процесс Радищева. С. 188.

<sup>83</sup> Замечания Екатерины II на книгу А.Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 1790 г. // *Бабкин А.С.* Процесс Радищева. С. 160.

<sup>84</sup> *Геллер М.Я.* История Российской империи в 2 тт. Т. 2. М.: Изд-во МИК, 2001. С. 103.

<sup>85</sup> *Мейер Георгий.* Славянофильство и революция // *Посев.* 2005. № 12. С. 12.

[обсудить в форуме](#)



[в начало страницы](#)

[AD-SIZE]

[AD-SIZE]

[AD]

[AD]

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: [zhz@russ.ru](mailto:zhz@russ.ru)  
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)